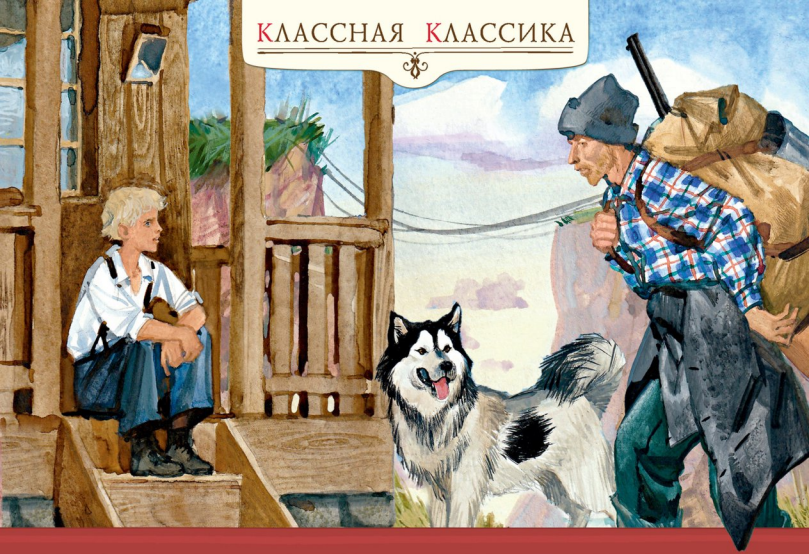
КЛАССНАЯ КЛАССИКА



Джек Лондон

НА БЕРЕГАХ САКРАМЕНТО

Рассказы



Махаон

На берегах Сакраменто
Джек Лондон

Аннотация
Джек Лондон. На берегах Сакраменто
«Истинное назначение человека – жить, а не существовать»
Белое Безмолвие
Там, где расходятся пути
На берегах Сакраменто
Любовь к жизни
Под палубным тентом
Дочь северного сияния
Тысяча дюжин
Меченый

Аннотация

Джек Лондон – заслуженно снискавший мировое признание американский писатель и журналист. Его рассказы о людях, столкнувшихся с суровыми испытаниями жизни, но сохранивших веру в человечество и стремление к лучшему, навсегда вошли в круг домашнего чтения, стали классикой. Они переведены почти на все языки, и дети и взрослые в разных странах мира с удовольствием читают их, вдохновляясь и беря пример со смелых и харизматичных героев. Произведения Джека Лондона входят в школьную программу.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Джек Лондон
На берегах Сакраменто

© К. Ю. Тверьянович, перевод, 2025
© Н. Г. Санников (наследник), перевод, 2025
© Богословская М. П., наследники, перевод на русский язык, 2025
© Дарузес Н. Л., наследники, перевод на русский язык, 2025
© Гурова И. Г., наследники, перевод на русский язык, 2025
© Курбанова Н. М., иллюстрации, 2025
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
«Махаон»®

* * *



«Истинное назначение человека – жить, а не существовать»



Писатель Джек Лондон (1876–1916) родился в 1876 году в Сан-Франциско — столице калифорнийских авантюристов, моряков и золотоискателей. Его родители разошлись еще до появления мальчика на свет, поэтому отца маленькому Джеку заменил отчим. Именно он дал ребенку свою фамилию и растил наравне со своими дочерьми. Джек Лондон всегда был близок со сводными сестрами, считая их родными людьми. Во многом благодаря им он приобщился к книгам: юные

барышни любили читать романы о «бедных добродетельных продавщицах», в финале непременно выходивших замуж за миллионеров, так что подобное легкое чтиво часто попадало в руки их малолетнему брату. Но не только бульварные романы увлекали мальчика. Настоящее потрясение он испытал, когда после переезда семьи в Окленд открыл для себя общественные библиотеки и познакомился с классической литературой. Любовь к ней он пронес через всю жизнь, находя в книгах так необходимую ему в трудные времена отдушину.

Еще одним увлечением юного Лондона была рыбная ловля. Так, в пятнадцать лет, отчаянно стараясь заработать денег после серьезной травмы приемного отца, он даже купил подержанную шхуну и занялся устричным промыслом. За дерзость и смелость другие моряки даже дали новоявленному «устричному пирату» титул принца. Однако браконьерством Лондон занимался недолго — вскоре юношу завербовал рыбацкий патруль, сделав его морскую карьеру легальной.

Пробовал себя предприимчивый юноша и в других сферах. Ему довелось поработать разносчиком газет, разнорабочим на консервном

заводе, доставщиком льда, уборщиком пивных павильонов, помощником хозяина кегельбана… Все заработанные деньги он отдавал семье, а сам, по воспоминаниям, ходил в латаном платье и поношенных башмаках. Неудивительно, что когда Америку охватила золотая лихорадка и многие старатели отправились на Аляску пытать счастья, в их числе оказался и Лондон. Зиму 1897 года он встретил на Клондайке и там же нашел себя как художника, написав свои первые рассказы о противостоянии человека и природы. Вдохновленный силой духа людей, способных выживать в немыслимых условиях ради мечты о грядущем благополучии, Лондон всю свою жизнь будет создавать сюжеты, наполненные романтикой преодоления и борьбы с опасностями. Его герои — от бесстрашного Хичкока («Там, где расходятся дороги»), способного рискнуть жизнью ради спасения индианки, до Бэка («Зов предков»), ездового пса, терпеливо сносящего тяготы северных переходов, — всегда готовы бросить вызов трудностям и проявить несгибаемую стойкость. При этом для писателя столкновение с суровыми северными реалиями — не просто дань моде. Оказавшись лицом к лицу с враждебной средой, его персонажи вынуждены либо проявить самые

яркие свойства своей натуры, либо погибнуть. «Север, — писал Джек Лондон, — вызывает в человеке ту смелость и решительность, которые никак не проявляются в более теплом климате».

При этом деньги на лоне природы быстро обесцениваются. На первый план выходят человеческие отношения: любовь, дружба, ненависть… Мужчины и женщины в более чем двухстах рассказах и пятидесяти романах Джека Лондона умеют как искренне и самоотверженно откликаться на чужое горе, так и беспощадно мстить своим обидчикам. Недаром творчество Лондона так откликалось в душе его известного русского современника — писателя Максима Горького. Последний отзывался об американском авторе так: «Джек Лондон — писатель, который хорошо видел, глубоко чувствовал творческую силу воли и умел изображать волевых людей». Двух «коллег по цеху» многое объединяло: они оба хорошо знали быт представителей «низов» общества, симпатизировали идеям всеобщего равенства и братства, отличались хрупким здоровьем и поразительной работоспособностью. По словам людей, близко знавших Джека Лондона, он мог почти беспрерывно работать по 15–17 часов каждый день. Чем не пример торжества воли и

разума?..

Свои последние годы Джек Лондон провел на ранчо в Калифорнии. Там бывший «устричный пират» и военный корреспондент решил осесть вместе с семьей и стать образцовым фермером. К тому моменту Лондон, подобно своему герою Мартину Идену, давно уже воплотил в жизнь «американскую мечту» и стал миллионером. Потому-то он мог позволить себе некоторые сумасбродства. Так, в своем хозяйстве он внедрял передовые технологии, о которых в начале двадцатого столетия обыватель еще не слышал.

За свой же пятидесятый роман «Сердца трех» писатель взялся из-за отсутствия свежих сюжетов для кинематографа, создав, по сути, один из первых «беллетризованных» сценариев. Поиски сокровищ майя, любовный треугольник, столкновения с индейцами, тайна усыновления — и в малых, и в крупных формах Джек Лондон умело совмещал увлекательные приключения и серьезные нравственные вопросы. Не за это ли его так любят во всех уголках земного шара?..

Виктория Хруслова



Белое Безмолвие

Перевод К. Тверьянович



— Кармен и двух дней не протянет.

Выплюнув кусок льда, Мэйсон с сожалением оглядел несчастное животное, а затем сунул себе в рот его лапу и снова принялся выгрызать лед, накрепко застывший между собачьих пальцев.

— Собаки с такими звучными именами обычно

гроша ломаного не стоят, — заявил он, закончив работу и оттолкнув животное прочь. — Они от такой ответственности чахнут и подыхают. Вы когда-нибудь видели, чтобы что-нибудь приключилось с собакой, у которой нормальная кличка — Касьяр, например, или Сиваш, или Хаски? Никогда! Вы посмотрите на Шукума: он…

Щелк! Тощий зверь промелькнул как стрела, и белые зубы едва не сомкнулись на горле Мэйсона.

— Ах вот ты как?

Рукоятка кнута ловко стегнула пса по уху, и тот, мелко дрожа, растянулся в снегу, пуская с клыков желтые слюни.

— Так вот, я говорю: посмотрите на Шукума — этот не пропадет. Держу пари, он сожрет Кармен — не пройдет и недели.

— А я тебе на это вот что скажу, — откликнулся Мэйлмют Кид, переворачивая хлеб, который он размораживал у огня. — Мы сами съедим Шукума еще прежде, чем доберемся до места. Как думаешь, Руфь?

Опустив в посудину кусочек льда, чтобы кофе осел, индианка взглянула на Мэйлмюта Кида, потом на мужа, потом на собак, но до ответа не снизошла. Он был настолько очевиден, что не

стоило тратить слов. Впереди лежало еще двести миль снежной целины, а еды оставалось в лучшем случае на шесть дней — это для людей, а для собак не было вовсе. О чем же тут спорить? Присев у костра, двое мужчин и женщина принялись за скудную трапезу. Лежа в упряжках (не было смысла их распрягать на время короткого дневного привала), собаки завистливо провожали взглядами каждый кусок.

— Обедать больше не будем, — объявил Мэйлмют Кид. — И за собаками — глаз да глаз. Они начинают злиться. Загрызут при первой возможности.

— А ведь я был когда-то главой методистской общины и преподавал в воскресной школе, — ни с того ни с сего сообщил Мэйсон и погрузился в задумчивое созерцание своих мокасин, от которых шел пар. Из этого состояния его вывела Руфь, протянув ему горячую кружку. — Слава богу, что хоть чая у нас вволю. Я видел, как он растет в Теннесси. Все на свете бы отдал сейчас за горячую кукурузную лепешку! Ничего, Руфь: голодать тебе осталось недолго, да и в мокасинах ходить тоже.

При этих словах ее хмурое лицо просияло, а глаза наполнились безграничной любовью к белому господину — первому белому человеку,

которого ей довелось встретить, и первому мужчине, который обращался с женщиной лучше, чем с вьючным животным.

— Да-да, Руфь, — продолжал ее муж на том особом смешанном наречии, на котором они только и понимали друг друга, — вот закончим дела — и отправимся на Большую землю. Сядем в каноэ Белого Человека и поплывем по Соленой Воде. Да-да, по воде, которую нельзя пить, по бурной воде, — по ней так и пляшут огромные горы — вверх-вниз. Мы поплывем далеко-далеко, пройдет десять снов, двадцать снов, сорок снов, — для наглядности он отсчитывал сутки на пальцах, — и все время вода, плохая вода. А за ней — огромная деревня, полная людей, как комаров летом. И высокие-высокие вигвамы — как десять — нет, двадцать сосен. Хай-ю скукум!



Тут он запнулся и беспомощно взглянул на Мэйлмюта Кида, а затем жестами изобразил, как ставит двадцать сосен одну на другую. Мэйлмют Кид скептически улыбнулся, но глаза Руфи были полны удивления и блаженства: она верила и не верила, думала, что муж, наверное, шутит, и эта милость пролила бальзам на сердце бедняжки.

— А потом ты заходишь… в ящик, и вдруг — пуф! — летишь вверх. — Для наглядности Мэйсон подбросил пустую кружку и, ловко поймав ее, воскликнул: — А потом — бух! — и вниз. О, там живут великие колдуны! Ты едешь в Форт-Юкон, я еду в Арктик-Сити — двадцать пять снов — большая веревка, всю дорогу — я поймал веревку — я говорю: «Привет, Руфь! Как дела?» — а ты говоришь: «Это мой добрый муж?» — а я говорю: «Да», — а ты говоришь: «Нельзя спечь хороший хлеб, соды нет», — а я: «Посмотри в кладовке под мукой, до встречи». Ты смотришь — а там полно соды. И ты все время в Форт-Юконе, а я в Арктик-Сити. Хай-ю колдун!

Руфь так простодушно улыбалась, слушая эту сказку, что оба мужчины не выдержали и расхохотались. Собачья драка положила конец рассказам о чудесах Большой земли, а когда рычащих соперников удалось разнять, Руфь уже

увязала нарты и можно было трогаться в путь.

— Вперед! Пошел, Плешивый! Ну, пошел! — Мэйсон ловко орудовал кнутом и, когда собаки взвыли, натягивая постромки, двинул нарты вперед, оттолкнувшись шестом. Со второй упряжкой отправилась Руфь, а Мэйлмют Кид, который помог ей оттолкнуться, остался замыкающим. Силач, способный повалить быка одним ударом, он не мог бить несчастных собак и жалел их — вопреки местным обычаям. Да что там, он был готов визжать вместе с ними от сострадания.

— Ну давайте, вперед, колченогие! — проворчал он после нескольких безуспешных попыток тронуться с места.

В конце концов его терпение было вознаграждено, и, поскуливая от боли, собаки поспешили вослед своим собратьям.

Разговоры закончились: дорога — тяжелый труд, и впустую расходовать силы — роскошь непозволительная. Из всех видов каторжного труда путешествие по Северной тропе — самый тяжкий. Блажен тот, кому удается ценой молчания выдержать день, даже на проторенной тропе.

И уж точно нет труда тяжелее, чем прокладывать тропу. Ноги в огромных плетеных лыжах

на каждом шагу проваливаются в сугробы по колено. Затем ногу нужно поднимать — строго вверх: малейшее отклонение, даже на дюйм, может привести к катастрофе, — до тех пор, пока лыжа не высвободится из снега полностью, и тогда — вперед и снова вниз, затем на пол-ярда перпендикулярно поверхности поднимают вторую ногу. Тот, кто делает такое впервые, даже чудом умудрившись не поставить ноги слишком близко друг к другу и не растянуться во весь рост на зыбкой тверди, рухнет в изнеможении, не преодолев и сотни ярдов. Тот, кому удастся ни разу за день не попасть под собачью упряжку, может с чистой совестью заползти в спальный мешок, преисполнившись гордости сверх всякой меры. А уж тому, кто выдержит на Великой Северной тропе двадцать ночевок, могут завидовать боги.

День все тянулся. Со священным трепетом, который порождало в них Белое Безмолвие, странники молчали, продолжая свой тяжкий труд. У природы есть много уловок, чтобы убедить человека в его бренности: она потрясает его воображение беспрестанной сменой морских приливов и отливов, яростью бурь, мощными подземными толчками, долгими раскатами небесной артиллерии — но сильнее всего ошелом-

ляет и ужасает это бесстрастное и безграничное Белое Безмолвие. Все замерло, небо расчистилось и отливает медью; малейший, даже самый тихий шепот кажется кощунством, и человек невольно робеет, пугаясь звуков собственного голоса. Одинокая искра жизни, летящая через мертвую призрачную пустыню, он содрогается от собственной дерзости, сознавая, что здесь он — лишь жалкий червь, и не более. Странные, неожиданные мысли приходят в голову, а тайна всего сущего так и просится на уста — чтобы наконец облечься в слова. И на человека накатывает страх — перед смертью, перед Создателем, перед Вселенной, надежда на Воскресение и на Жизнь, и жажда бессмертия, тщетное стремление немощной твари, — и только тогда он, возможно, оказывается один на один с Богом.

День подходил к концу. Река описала огромный изгиб, и Мэйсон направил свою упряжку напрямик, через узкий перешеек. Но собаки всё никак не могли взобраться по крутому склону на берег. Они снова и снова сползали вниз, хотя Руфь и Мэйлмют Кид налегали на нарты, подталкивая их вверх. Наконец они предприняли решающую попытку. Несчастные создания, ослабевшие от голода, вложили в нее все последние силы. Вверх

— еще выше — вот нарты уже почти на крутом берегу: но вдруг вожак забрал вправо, потянув за собой остальных, впряженных следом за ним, и зацепил упряжью лыжи Мэйсона. Результат оказался плачевным. Мэйсона сбили с ног; одна из собак тоже упала, нарты опрокинулись и снова скатились вниз вместе с поклажей.

Вжик! Кнут обрушился на собак — особенно яростно на ту, что упала.

— Мэйсон, не надо! — взмолился Мэйлмют Кид. — Бедняга и так на последнем издыхании. Погоди, я своих припрягу.

Мэйсон остановился, молча дождался, пока товарищ произнесет последнее слово, — и вновь взметнул длинный кнут, который буквально обвился вокруг провинившегося животного. Кармен — а это была она — вжалась в снег, жалобно взвизгнула и повалилась набок.

Наступил трагический момент, один из самых печальных, какие бывают в дороге: умирающая собака, разгневанные попутчики. Руфь встревоженно переводила взгляд с одного на другого. Но Мэйлмют Кид сдержался, хотя взгляд его был полон укоризны, и, склонившись над собакой, обрезал постромки. Никто не проронил ни слова. Упряжки спарили, крутой склон преодолели;

нарты вновь двинулись в путь, умирающее животное плелось следом. Кармен не пристрелят, пока она сможет передвигаться. Для нее это последняя возможность выжить: если она доберется до лагеря и если люди добудут лося.

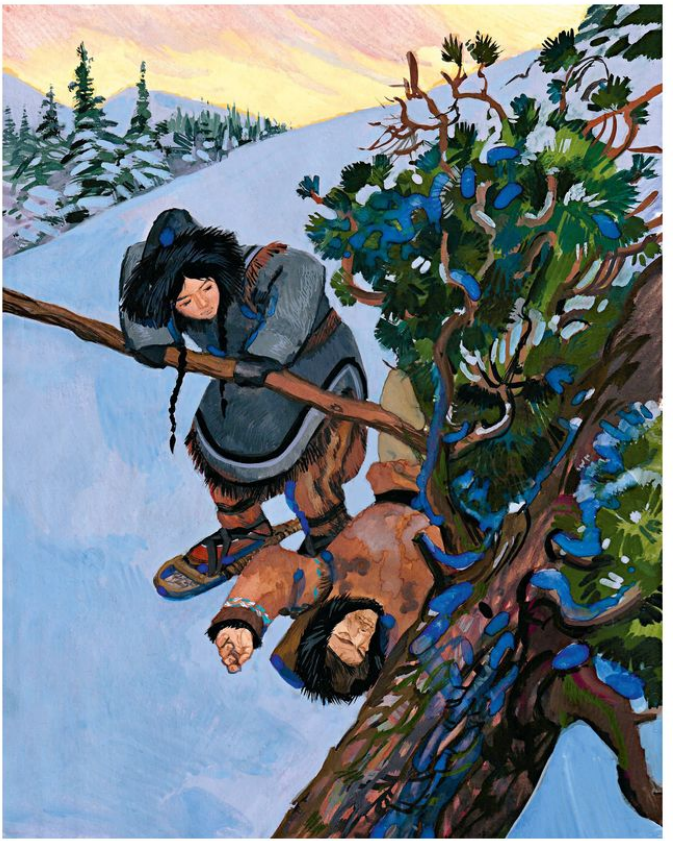


Мэйсон уже сожалел о том, как повел себя в приступе гнева, но был слишком упрям, чтобы извиниться; он шел впереди, с трудом пролагая путь, и не подозревал, что над ним нависла угроза. Они пробирались через укрытую от ветра низину, поросшую лесом. Футах в пятидесяти от тропы высилась величавая сосна. Она пережила уже не одно поколение людей, и все это время судьба готовила ей такой вот конец — как, возможно, и Мэйсону.

Он наклонился, чтобы затянуть распустившуюся завязку у мокасина. Нарты остановились, и собаки без единого звука улеглись в снег. Заиндевевший лес был пугающе неподвижен, ни единое дуновение не нарушало потустороннюю тишину; холод и безмолвие леденили душу и обжигали дрожащие губы природы. Вдруг воздух содрогнулся от тихого вздоха: казалось, они его не услышали, а скорее почувствовали — как предвестие нарождающегося движения в неподвижной пустоте. И вот огромное дерево, под гнетом лет и снегов, доиграло свою роль в трагедии жизни. Услышав предостерегающий треск, Мэйсон попытался вскочить на ноги, и ему это почти удалось, как вдруг чудовищный удар обрушился ему на плечо.

Нежданная угроза, внезапная смерть — Мэйлмют Кид давно был с ними на «ты». Сосновые иглы еще трепетали, когда он отдал необходимые команды и взялся за дело. А юная индианка не упала в обморок и не стала сотрясать воздух праздными стенаниями, как, скорее всего, поступили бы ее бледнолицые сестры. По приказу Мэйлмюта Кида она навалилась всем весом на конец толстой палки — импровизированного рычага — и облегчила таким образом тяжесть ствола, прислушиваясь к стонам мужа; сам же Кид тем временем орудовал топором. Сталь весело звенела, впиваясь в насквозь промерзший ствол; за каждым ударом слышался громкий, натужный выдох лесоруба: «Ух! Ух!» Наконец Кид добрался до того, что некогда было человеком. Но гораздо больнее, чем муки товарища, было видеть беззвучное страдание несчастной женщины, это вопросительное выражение у нее на лице, полное одновременно надежды и отчаяния. Говорили мало: на Севере быстро познаёшь тщетность слов и несравненную ценность дел. Лежа в снегу при температуре минус шестьдесят пять градусов по Фаренгейту, человек долго не проживет. Кид и Руфь обрезали постромки и уложили беднягу Мэйсона, укутанного в меха, на ложе из веток. Пе-

ред ним разожгли жаркий костер, нарубив дров из того самого дерева, которое послужило причиной несчастья. С другой стороны и отчасти сверху соорудили что-то вроде палатки: натянули кусок полотна, которое улавливало тепло и отражало его на больного, — прием, хорошо известный тем, кто учится физике у самой природы.



А те, кому случалось делить ложе со смертью, узнают ее зов. Мэйсон был искалечен страшно. Это было видно даже при беглом осмотре. Правая рука, нога и позвоночник были сломаны; обе ноги полностью парализованы; скорее всего, были и внутренние повреждения. Кроме редких стонов, других признаков жизни он не подавал.

Положение безнадежное: сделать ничего невозможно. Безжалостная ночь тянулась медленно. Руфь держалась стойко, пряча отчаяние, как свойственно ее народу; на бронзовом лице Мэйлмюта Кида пролегли несколько новых складок. Вообще говоря, Мэйсон мучился меньше всех: он пребывал в Восточном Теннесси, у подножия хребта Большие Дымчатые горы, где прошло его детство. И до чего же трогательно звучали давно забытые им интонации родного южного наречия, когда он бредил об омутах, и об охоте на енотов, и о ворованных арбузах. Руфь понимала не больше, чем если бы он говорил по-китайски, зато Кид понимал все прекрасно — понимал и чувствовал так, как может чувствовать только тот, кто на долгие годы оказался оторван от всех благ цивилизации.

Наутро искалеченный Мэйсон пришел в сознание, и Мэйлмют Кид склонился поближе, чтобы

разобрать его шепот.

— Помнишь, как мы встретились на Танане? В ледоход четыре года будет. Тогда она для меня мало что значила. Хорошенькая… просто нравилась, наверное. Но теперь… все мои мысли — о ней, понимаешь? Она была мне хорошей женой, всегда рядом. Ну а в нашем деле ей равных нет, сам знаешь. Помнишь, как она преодолела пороги Лосиные Рога, чтобы забрать нас с той скалы, когда пули градом лупили по воде? А голод в Нуклукайто помнишь? А как она перебралась через реку в ледоход, чтобы передать нам вести? Да, она была мне прекрасной женой — куда лучшей, чем та, другая. А ты разве не знал? Я не рассказывал? В общем, я был женат когда-то — там, в Штатах. Потому и оказался здесь. Мы с ней выросли вместе. Я уехал, чтобы ей проще было получить развод. Она его получила.

Но я не о ней — о Руфи. Думал закончить здесь все дела и отправиться в будущем году в Большую землю — вместе с ней. Слишком поздно. Кид, ты только не отсылай ее обратно, к племени. Для женщины это страшно тяжело — возвращаться. Подумай только: почти четыре года она ела копченую свинину, бобы, хлеб, сушеные фрукты, а там — опять рыба да карибу! Познать наш образ

жизни, понять, что нам живется лучше, чем ее народу, и вернуться — нет, это никуда не годится. Позаботься о ней, Кид… а может, ты?.. Хотя нет, ты всегда избегал их и никогда не рассказывал, как тебя занесло в эти края. Будь с ней помягче. Отправь ее поскорее в Штаты. Только устрой так, чтобы она могла возвратиться, если вдруг затоскует. Всякое бывает.

Ты знаешь, ребенок очень нас сблизил. Надеюсь, это парень. Представляешь, Кид: плоть от плоти моей! Ему нельзя оставаться в этих краях. Ты продай мои меха, они потянут тысяч на пять, не меньше, и еще столько же за Компанией. А если девочка… нет, не может быть… Я хочу, чтобы ты вел мои дела заодно со своими. Тот участок… думаю, там будет чем поживиться. Проследи, чтобы он получил хорошее образование. Но главное, Кид, не позволяй ему сюда возвращаться. Эта земля — не для белых. А я… я, Кид, человек пропащий. Три-четыре ночевки переживу — в лучшем случае. Вам надо двигаться дальше. Вы должны! И помни: это моя жена и мой сын, — Господи, вот бы это был сын! Вы не должны задерживаться из-за меня. Послушайся умирающего: не задерживайтесь, езжайте.

— Дай мне три дня, — взмолился Мэйлмют

Кид. — Может, тебе станет лучше. Может, нам повезет.

— Нет.

— Всего три дня.

— Вам нужно ехать.

— Два дня.

— Кид, это мои жена и сын. Даже не думай.

— Один день.

— Нет, нет! Заклинаю…

— Всего день. Мы попробуем добыть лося.

— Нет… ну ладно: один день, и ни минутой больше. Да, Кид: и не бросай меня тут одного. Один выстрел, просто спусти курок. Ну, понимаешь. Ты только представь себе! Только представь! Плоть от плоти моей, и я никогда его не увижу!.. Пришли сюда Руфь. Я хочу попрощаться. Скажу, чтобы думала о сыне и не ждала, пока я умру. Если я не скажу, она, чего доброго, не уйдет. Ну, прощай же, старик, прощай. Кид! И еще: попробуй копнуть повыше, у самого склона. Я там центов по сорок намывал. Погоди, Кид!

Тот склонился пониже, чтобы разобрать последние, совсем уже тихо произнесенные слова. Отринув гордыню, умирающий произнес:

— Ты прости за… ну, за Кармен.

Предоставив молодой женщине тихо оплаки-

вать мужа, Мэйлмют Кид накинул парку, надел лыжи, сунул под мышку ружье и отправился в лес. Не новичок в северных землях, он пережил здесь много суровых испытаний, но все они не шли ни в какое сравнение с этим. Если отвлечься от чувств и мыслить математически, речь шла о простом уравнении: три жизни против одной, к тому же обреченной. Но как решиться? Ведь узы товарищества, связавшие Кида и Мэйсона, сплетались и крепли пять лет, пройденных плечом к плечу, по рекам и тропам, через стоянки и прииски, перед лицом смерти, в лесных дебрях и бурных водах. Так прочна была эта связь, что Кид порой ловил себя на ревности к Руфи — с той самой минуты, когда индианка впервые встала между ними. И что же теперь? Он должен собственноручно обрубить эту связь.



Он молился о том, чтобы в лесу ему встретился лось — всего один лось, но казалось, вся живность покинула эти места, и к ночи изможденный охотник с трудом добрел до лагеря — с пустыми руками и тяжелым сердцем. Услышав громкий лай собак и пронзительные крики Руфи, он ринулся вперед со всей скоростью, на какую был

еще способен.

Добежав до лагеря, он увидел, что рычащая собачья стая окружила женщину, а та отбивается, размахивая топором. Нарушив железное правило своих хозяев, собаки растаскивали остатки провианта. Орудуя прикладом ружья, Кид присоединился к Руфи, и извечный закон естественного отбора в очередной раз доказал свою непреложность — со всей первобытной жестокостью. Ружье и топор однообразными движениями взлетали и опускались, то попадая в цель, то промахиваясь; собаки с горящими от бешенства глазами и оскаленными пастями, бросаясь на людей, корчились под ударами; зверь и человек сражались за власть, и плачевный исход их борьбы не заставил себя ждать. Побежденные животные отползли к самому краю светового круга, образованного отблесками костра, и принялись зализывать раны, громко жалуясь звездам на свою неудачу.

Все запасы вяленого лосося оказались уничтожены, а муки осталось в лучшем случае фунтов пять — и это на двести с лишним миль пути по безлюдной пустыне. Руфь возвратилась к мужу, а Мэйлмют Кид разделал еще теплую тушу одной из собак, чей череп был проломлен топором. Все

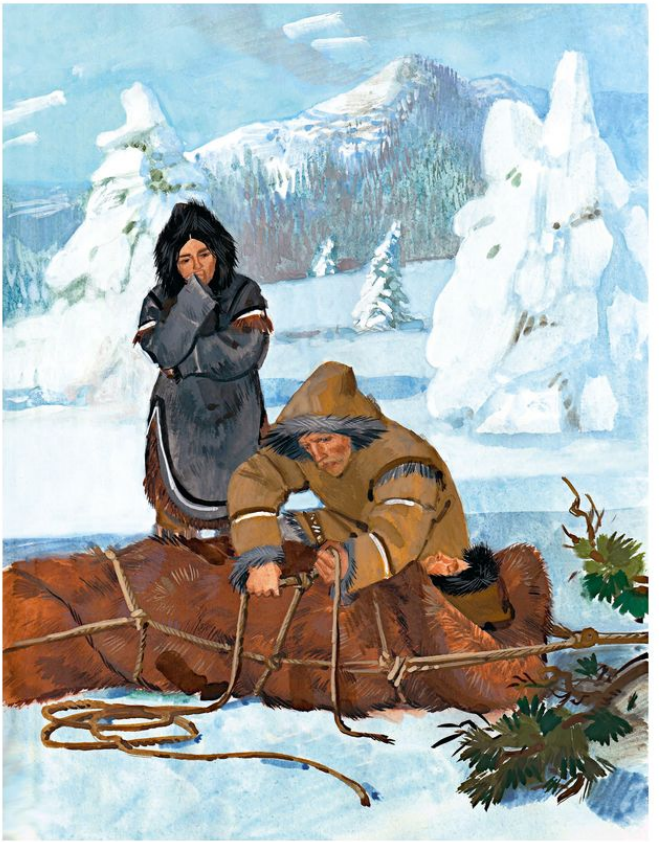
части туши он припрятал, кроме шкуры и требухи — их он швырнул тем, кто еще минуту назад бился вместе с погибшим зверем.

Утро принесло с собой новые неприятности. Собаки дрались между собой. Стая загрызла Кармен, которая до того времени еще продолжала цепляться за жизнь. Напрасно кнут ходил по их спинам. Собаки скулили и виляли хвостом под ударами, но оставить добычу отказывались до тех пор, пока на снегу ничего не осталось — ни костей, ни шкуры, ни шерсти.

Мэйлмют Кид принялся за дело, вслушиваясь в бред Мэйсона, который вернулся в свой Теннесси и теперь обращался к былым приятелям с бессвязными речами и нелепыми призывами.

Руфь наблюдала, как Кид, используя ближайшие сосенки, ловко сооружает схрон, какие охотники используют иногда, чтобы до мяса не добрались росомахи и псы. Он пригнул верхушку сначала одной небольшой сосны, потом другой почти к самой земле и связал их ремнями из лосиной кожи. Затем кнутом заставил собак подчиниться, запряг их в двое нарт, куда сложил весь скарб, кроме шкур, в которые был укутан Мэйсон. Этими шкурами он плотно обернул товарища и крепко обмотал сверху веревками, а

получившийся кокон с обоих концов привязал к согнутым соснам. Теперь достаточно одного удара охотничьего ножа — и тело взмоет высоко в воздух.



Получив от мужа последние наставления, Руфь не перечила его воле. Жизнь научила бедняжку беспрекословному повиновению. С детства она склонялась — и видела, как все женщины склоняются, — перед волей мужчины, венца творения, и ей казалось, что для женщины противоестественно прекословить этой воле. Мэйлмют Кид позволил Руфи лишь одно проявление горя — поцеловать мужа (ее народ не знал такого обычая), а затем проводил ее до передних нарт и помог надеть лыжи. Вслепую, бессознательно она взяла в руки шест и кнут, прикрикнула на собак и двинулась в путь. А Кид возвратился к Мэйсону, лежавшему в беспамятстве, и долго еще после того, как Руфь скрылась из виду, сидел скорчившись у костра: ждал, надеялся, молился, чтобы товарищ умер.

Несладко остаться наедине с тяжелыми мыслями посреди Белого Безмолвия. Безмолвие сумрака милосердно: обволакивая человека, оно словно берет его под защиту, и кажется, будто все кругом дышит сочувствием; но Белое Безмолвие, залитое ярким светом, ясное и холодное под стальными небесами, совершенно безжалостно.

Прошел час, потом два часа, а несчастный все не умирал. В полдень солнце не показалось над южным горизонтом, оно лишь бросило на небеса огненный блик, который почти сразу исчез. Мэйлмют Кид поднялся на ноги и подошел к товарищу. Огляделся по сторонам. Белое Безмолвие, казалось, глумливо усмехалось, и Кида охватил ужас. Грянул выстрел; Мэйсон взмыл в свою воздушную могилу, а Мэйлмют Кид принялся настегивать собак, и они бешено рванулись вперед через снежную пустыню.

1899



Там, где расходятся пути

Грустно мне, грустно мне этот город покидать,
Где любимая живет.

Швабская народная песня

Перевод Н. Санникова



Человек, напевавший песню, нагнулся и добавил воды в котелок, где варились бобы. Потом

он выпрямился и стал отгонять дымящейся головешкой собак, которые вертелись у ящика с провизией. У него было открытое лицо, голубые веселые глаза, золотистые волосы, и от всего его облика веяло свежестью и здоровьем.

Тонкий серп молодого месяца виднелся над заснеженным лесом, который плотной стеной окружал лагерь и отделял его от остального мира. Мерцающие звезды, казалось, плясали в ясном, морозном небе. На юго-востоке едва заметный зеленоватый свет предвещал северное сияние. У костра лежали двое. Их ложе составляли сосновые ветки, толстым, шестидюймовым слоем разостланные на снегу и покрытые медвежьей шкурой. Одеяла были откинуты в сторону. Парусиновый навес, натянутый между двумя деревьями под углом к земле в сорок пять градусов, служил защитой от ветра и одновременно задерживал тепло от огня и отбрасывал его вниз, на медвежью шкуру. На нартах, у самого костра, сидел еще один человек и чинил мокасины. Справа куча мерзлого песка и примитивный ворот указывали на то место, где они упорно трудились с утра до вечера в поисках золотой жилы. Слева четыре пары воткнутых в снег лыж говорили о способе передвижения, которым пользовались

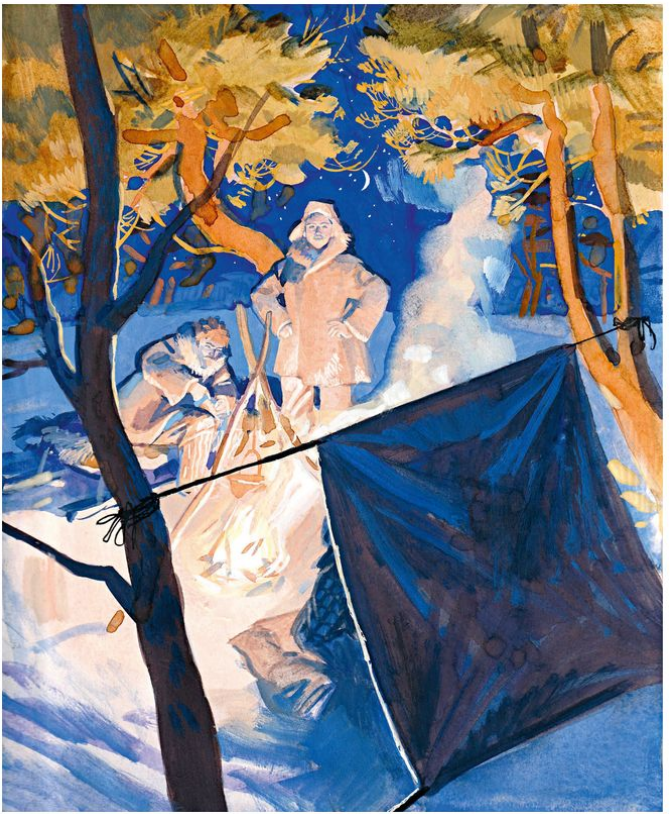
люди за пределами лагеря.

Волнующе и странно звучала простая швабская песня под холодными северными звездами. Она вселяла беспокойство в сердца людей, отдыхавших у костра после утомительного трудового дня, и вызывала в них щемящую боль и острую, как голод, тоску по далекому солнечному Югу.

— Да замолчи ты ради бога, Зигмунд! — взмолился один из лежавших у костра; он прятал в складках медвежьей шкуры свои до боли сжатые кулаки.

— А почему, Дейв Верц, я должен молчать, если мне хочется петь? — отозвался Зигмунд. — Может, у меня сердце радуется!

— А потому что не с чего радоваться. Посмотри вокруг. Подумай, что за жизнь ведем мы уже целый год: питаемся черт знает чем и работаем как лошади.



Золотоволосый Зигмунд спокойно оглядел все — и побелевших от инея собак, и белый пар от дыхания людей.

— Не вижу, почему бы мне не радоваться? — засмеялся он. — Не так уж все плохо. Мне нравится. Ты говоришь, еда плохая. Ну… — Он согнул в локте руку и погладил свои мощные бицепсы. — А насчет того, что живем мы здесь по-скотски, так зато наживаемся по-царски. Жила дает по двадцать долларов с каждой промывки, а в ней еще будет верных восемь футов. Да тут второй Клондайк — и все мы это знаем. Вон Джим Хоз рядом с тобой, он-то понимает, ну и не жалуется. А посмотри на Хичкока: чинит себе мокасины, словно старуха, и на стену не лезет: знает, что надо потерпеть. А у тебя вот не хватает выдержки — не можешь спокойно поработать до весны, ведь тогда мы будем богаты как крёзы. Хочется скорее попасть домой, в Штаты? А мне, думаешь, не хочется? Я там родился. Но я могу ждать, потому что каждый день на дне нашего промывочного лотка золото желтеет, словно масло в маслобойке. А ты хнычешь, как ребенок, — подай тебе сейчас же, чего тебе хочется. Нет уж, по-моему, лучше петь.

Через год, через год,

Как созреет виноград,
Ворочусь я в край родной.
Если ты еще верна,
Назову тебя женой.
Через год, через год,
Как окончится мой срок,
Назову тебя женой.
Если ты была верна,
Я навеки буду твой.

Собаки ощетинились и с глухим ворчанием придвинулись ближе к костру. Послышалось мерное поскрипывание лыж и шипящий звук от скольжения по снегу, словно кто-то просеивал сахарный песок. Зигмунд оборвал песню и с проклятием стал отгонять собак. В свете костра показалась закутанная в меха девушка-индианка; она сбросила лыжи, откинула капюшон своей беличьей парки и приблизилась к людям у огня.

— Здоро́во, Сипсу! — приветствовали ее Зигмунд и двое лежавших на медвежьей шкуре, а Хичкок молча подвинулся, чтобы она могла сесть рядом с ним на нарты.

— Ну, как дела, Сипсу? — спросил он на каком-то жаргоне — смеси ломаного английского языка

с испорченным чинукским наречием. — Что, в поселке все еще голод? И ваш колдун все еще не нашел причины, почему так мало попадается дичи и лось ушел в другие края?

— Да, твоя правда, дичи очень мало; нам скоро придется есть собак. Но колдун нашел причину этого зла; завтра он принесет жертву, которая снимет заклятие с племени.

— А кто будет жертвой? Новорожденный младенец или какая-нибудь несчастная дряхлая старуха, которая стала обузой и от которой все будут рады избавиться?

— Нет, на этот раз он рассудил по-другому. Боги очень сердятся, и поэтому жертвой должен быть не кто иной, как дочь вождя племени, — я, Сипсу.

— Ах ты черт! — проговорил Хичкок.

Он произнес это веско, с расстановкой, тоном, в котором слышалось и удивление, и раздумье.

— Наши пути теперь расходятся, — спокойно продолжала она. — И я пришла, чтобы мы еще раз посмотрели друг на друга. В последний раз.

Она принадлежала к первобытному миру, и обычаи, по которым она жила, тоже были первобытные. Она привыкла принимать жизнь такой, как она есть, и считала человеческие жертво-

приношения в порядке вещей. Силы, которые управляли сменой ночи и дня, разливом вод и морозами, силы, которые заставляли распускаться почки и желтеть листья, — эти силы бывали порой разгневаны, и нужны были жертвы, чтобы склонить их к милосердию. Их воля проявлялась по-разному: человек тонул во время половодья, проваливался сквозь предательский лед, погибал в мертвой хватке медведя или изнурительная болезнь настигала его у собственного очага — и он кашлял, выплевывая кусочки легких, пока жизнь не уходила вместе с последним дыханием. Иногда же боги соглашались принять человеческую жизнь в жертву, а шаман умел угадывать их желания и никогда не ошибался в выборе. Все было просто. Разными путями приходила смерть, но в конце концов все сводилось к одному — к велению непостижимых и всемогущих сил.

Но Хичкок принадлежал к другому, более развитому миру. Обычаи этого мира не отличались ни такой простотой, ни такой непреложностью. Поэтому Хичкок сказал:

— Нет, Сипсу, это неправильно. Ты молода и полна жизни. Ваш колдун болван, он сделал плохой выбор. Этому не бывать.

Она улыбнулась и ответила:

— Жизнь жестока. Когда-то она создала нас: одного с белой кожей, а другого — с красной. Затем она сделала так, что пути наши сошлись, а теперь они расходятся вновь. И мы не в силах изменить это. Однажды, когда боги тоже были разгневаны, твои братья пришли к нам в деревню. Их было трое — сильные белые люди. Они тогда сказали, как ты: «Этому не бывать!» Но они погибли, все трое, а это все-таки совершилось.

Хичкок кивнул ей в знак того, что он понял, потом обернулся к товарищам и, повысив голос, сказал:

— Слышите, ребята? Там, в поселке, видно, все с ума посходили. Они собираются убить Сипсу. Что вы на это скажете?

Хоз и Верц переглянулись и промолчали. Зигмунд опустил голову и гладил овчарку, прижимавшуюся к его ногам. Он привез ее издалека и очень заботился о ней. Секрет был в том, что, когда он уезжал на Север, собаку подарила ему на прощанье та самая девушка, о которой он так часто думал и чей портрет в маленьком медальоне, спрятанном у него на груди, вдохновлял его песни.

— Ну что же вы скажете? — повторил Хичкок.

— Может, это еще и не так, — не сразу ответил

Хоз, — может, Сипсу преувеличивает.

— Я не об этом вас спрашиваю! — Хичкок видел их явное нежелание отвечать, и кровь бросилась ему в лицо от гнева. — Я спрашиваю: если окажется, что это так, можем мы это допустить? Что мы тогда сделаем?

— По-моему, нечего нам вмешиваться, — заговорил Верц. — Даже если все это так, сделать мы ничего не можем. У них так принято, так велит их религия; и это совсем не наше дело. Нам бы намыть побольше золотого песку и поскорее выбраться из этой проклятой дыры. Здесь могут жить только дикие звери. И эти краснокожие — тоже зверье, и ничего больше. Нет, с нашей стороны это был бы крайне опрометчивый шаг.

— Я тоже так думаю, — поддержал его Хоз. — Нас тут четверо, а до Юкона триста миль, и ближе ни одного белого человека не встретишь. Так что же мы можем сделать против полусотни индейцев? Если мы поссоримся с ними, нам придется убираться отсюда, а станем драться — нас попросту уничтожат. Кроме того, мы ведь напали на жилу, и, черт возьми, я, например, не собираюсь ее бросать.

— Правильно! — отозвался Верц.



Хичкок нетерпеливо обернулся к Зигмунду, который напевал вполголоса:

Через год, через год,
Как созреет виноград,
Ворочусь я в край родной.

— Что ж, Хичкок, — проговорил он наконец, — я согласен с остальными. Если индейцы — а их там верных полсотни — решили убить ее, так что же мы-то можем сделать? Навалятся все разом, и нас как не бывало. А что толку? Девчонка все равно останется у них в руках. Нет, идти против местных обычаев можно, только когда сила на твоей стороне.

— Но сила-то ведь на нашей стороне, — прервал его Хичкок. — Четверо белых сто́ят четырехсот индейцев. И надо же подумать о девушке.

Зигмунд задумчиво погладил собаку.

— А я и думаю о девушке. Глаза у нее голубые, как летнее небо, и смеющиеся, как море. И волосы светлые, как у меня, и заплетены они в толстые косы. Она ждет меня там, в солнечной стране. Она ждет давно, и теперь, когда цель моя уже близка, я не хочу рисковать.

— А я бы не мог спокойно смотреть в ее голубые глаза; мне бы все время мерещились черные

глаза той, которая погибла из-за моей трусости, — язвительно сказал Хичкок.

Великодушный и честный по натуре, он привык поступать бескорыстно, не вдаваясь в рассуждения и не думая о последствиях.

Зигмунд покачал головой:

— Ты сумасшедший, Хичкок, но я из-за тебя глупостей делать не стану. Надо рассуждать трезво и считаться с фактами. Я сюда не развлекаться приехал. А самое главное — наше вмешательство ничему не поможет. Если все, что она говорит, правда, — ну что ж, остается только пожалеть ее. Таков обычай племени, а что тут оказались мы — это чистая случайность. Они делали так тысячу лет назад, и сделают теперь, и будут делать и впредь, до скончания веков. Это люди чуждого нам мира, да и девушка тоже. Нет, я решительно на стороне Верца и Хоза, и…

Собаки зарычали и сбились в кучу. Зигмунд прервал свою речь и прислушался: из темноты доносилось поскрипывание множества лыж. В освещенном круге у костра показалось несколько одетых в шкуры индейцев — высокие, решительные, безмолвные. Их тени зловеще плясали на снегу. Один из них, шаман, обращаясь к Сипсу, проговорил что-то гортанным голосом. Его лицо

было грубо размалевано, на плечи накинута волчья шкура, открытая пасть скалила зубы над его лбом. Остальные хранили молчание. Молчали и золотоискатели. Сипсу поднялась и надела лыжи.

— Прощай же, друг! — сказала она Хичкоку.

Но человек, сидевший рядом с ней на нартах, не пошевелился. Он даже не поднял головы, когда индейцы один за другим стали исчезать в темноте.

В отличие от многих мужчин, приезжавших в те края, Хичкок никогда не испытывал желания завязать близкие отношения с женщинами Севера. Он всюду чувствовал себя как дома и одинаково относился ко всем людям, так что взгляды его не были бы помехой, если бы подобное желание у него возникло.

Но до сих пор оно просто не возникало. А Сипсу? Он любил болтать с ней у костра, но относился к ней не как мужчина к женщине, а скорее как взрослый к ребенку; это было естественно для человека его склада хотя бы потому, что их дружба немного скрашивала однообразие этой безрадостной жизни.

Однако, несмотря на то что он был до мозга костей янки и вырос в Новой Англии, в нем текла

горячая кровь и некоторое рыцарство было ему не чуждо. Деловая сторона жизни порой казалась ему лишенной смысла и противоречила самым глубоким устремлениям его души.

Он сидел молча, опустив голову, чувствуя, что в нем пробуждается какая-то стихийная сила, более могучая, чем он сам, великая сила его предков. Время от времени Хоз и Верц искоса поглядывали на него с легким, но все же заметным беспокойством. Зигмунду тоже было не по себе. Все они знали, что Хичкок очень сильный человек. В этом они не однажды имели случай убедиться за время их совместной жизни, полной всяких опасностей. Потому они теперь с любопытством и некоторым страхом ждали, что он станет делать.



Но он все молчал. Время шло, и костер почти уже догорел. Верц потянулся, зевнул и сказал, что, пожалуй, пора и спать. Тогда Хичкок встал и выпрямился во весь рост.

— Будьте вы прокляты, жалкие трусы! Я вас больше знать не хочу! — Он произнес это спокойно, но в каждом слове чувствовались сила и непреклонная воля. — Довольно! Давайте рассчитаемся. Можете это сделать, как вам будет удобнее. Мне принадлежит четвертая доля в заявке. Это указано в наших контрактах. Мы намыли унций тридцать золота. Давайте сюда весы, и мы его разделим. Ты, Зигмунд, отмерь мне четвертую часть всех припасов. Четыре собаки мои. Но мне нужно еще столько же. За них я оставлю свою долю снаряжения и инструментов. Кроме того, добавлю свои семь унций золота и ружье с патронами. Идет?

Трое мужчин отошли в сторону. Пошептавшись между собой, они вернулись. Зигмунд заговорил от лица всех:

— Вот что, Хичкок, мы поделимся с тобой честно. Ты получишь одну четвертую часть, не больше и не меньше, — и делай с ней что хочешь. А собаки нам и самим нужны. Поэтому можешь взять только четырех. Что же касается твоей доли

в снаряжении и инструментах, то нужны они тебе — бери, не нужны — оставь. Это уж твое дело.

— Значит, все по букве закона, — усмехнулся Хичкок. — Ну что ж, я согласен. И давайте поскорее. Я тут ни одной лишней минуты оставаться не желаю. Мне противно смотреть на вас.

Больше не было произнесено ни слова. После того как раздел совершился, Хичкок уложил на нарты свои скромные пожитки, отобрал и запряг четырех собак. Он не притронулся к снаряжению, зато бросил на нарты полдюжины собачьих постромок и вызывающе поглядел на своих товарищей, ожидая возражений с их стороны. Но они только пожали плечами и потом молча смотрели ему вслед, пока он не скрылся в лесу.

По глубокому снегу полз человек. Справа и слева от него чернели крытые оленьими шкурами вигвамы индейцев. Порой то тут, то там голодные собаки принимались выть или озлобленно рычали друг на друга. Одна из них приблизилась к ползущему человеку. Он замер. Собака подошла ближе, понюхала воздух и осторожно сделала еще несколько шагов, пока ее нос не коснулся странного предмета, которого не было здесь до наступления темноты. Тогда Хичкок, ибо это был он, внезапно приподнялся; мгновение — и его

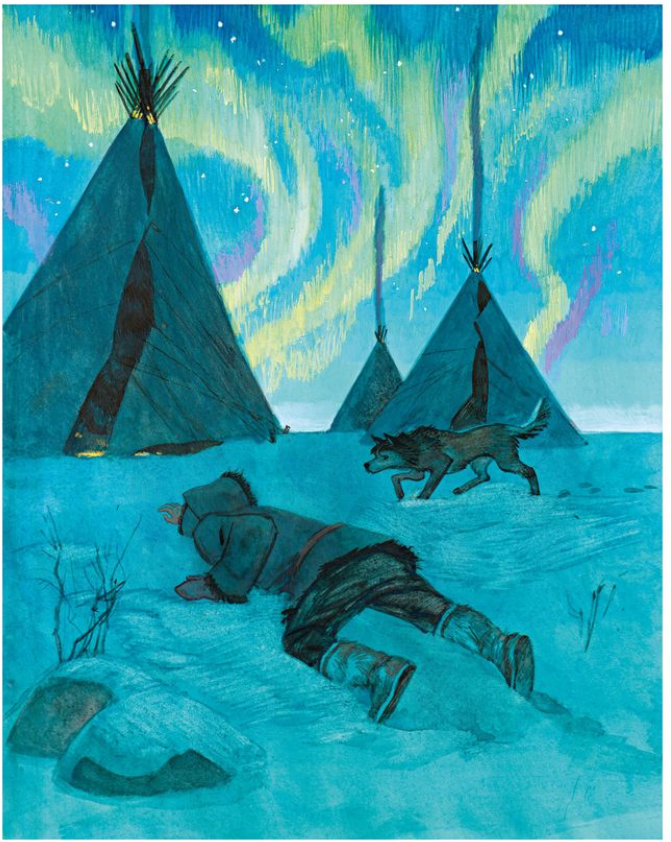
рука, с которой он заранее снял рукавицу, стиснула мохнатое горло собаки. И смерть настигла ее в этой стальной хватке. Когда человек пополз дальше, собака осталась на снегу под звездами со сломанной шеей.

Хичкок дополз до вигвама вождя. Он долго лежал на снегу, прислушиваясь к голосам и стараясь определить, где именно находится Сипсу. Очевидно, там находилось много людей, и, судя по доносившемуся шуму, все они были в большом волнении.

Наконец он различил голос девушки и, обогнув вигвам, оказался рядом с ней, так что их разделяла лишь тонкая оленья шкура. Разгребая снег, Хичкок постепенно подсунул под нее голову и плечи. Когда он почувствовал теплый воздух жилища, то приостановился и стал ждать. Он ничего не видел и боялся пошевельнуться. Слева от него, очевидно, находилась кипа шкур. Он почувствовал это по запаху, но все же для большей уверенности осторожно ощупал ее. Его лица слегка коснулся край чьей-то меховой одежды. Он был почти уверен, что это Сипсу, но все-таки ему хотелось, чтобы она еще раз заговорила.

Он слышал, как вождь и шаман о чем-то горячо спорили, а где-то в углу плакал голодный

ребенок. Хичкок повернулся на бок и осторожно приподнял голову, все так же слегка касаясь лицом меховой одежды. Он прислушался к дыханию. Это было дыхание женщины. И он решил рискнуть.



Осторожно, но довольно крепко он прижался к ней и почувствовал, как она вздрогнула. Он замер в ожидании. Чья-то рука скользнула по его голове, ощупала курчавые волосы, затем тихонько повернула его лицо кверху — и в следующее мгновение он встретился глазами с Сипсу.

Она была совершенно спокойна. Непринужденно изменив позу, она облокотилась на кипу шкур и поправила свою одежду так, что совершенно скрыла его. Затем, и снова как бы случайно, она склонилась над ним, опустила голову, и ухо ее слегка прижалось к его губам.

— Как только выберешь подходящую минуту, — прошептал он, — уходи из поселка, иди в направлении ветра прямо к тому месту, где ручей делает поворот. Там, у сосен, будут мои собаки и нарты, готовые для дороги. Сегодня ночью мы отправимся в путь — к Юкону. Мы должны будем ехать очень быстро, поэтому хватай первых попавшихся собак и тащи их к ручью.

Сипсу отрицательно покачала головой, но ее глаза радостно заблестели — она была горда тем, что этот человек пришел сюда ради нее. Подобно всем женщинам своего народа, она считала, что ее судьба — покоряться мужчине.

Хичкок властно повторил: «Ты придешь!» — это

прозвучало как приказ. И хотя она не ответила, он знал, что его воля для нее — закон.

— О постромках не беспокойся, — добавил он. — И поторапливайся. День прогоняет ночь, и время не ждет.

Спустя полчаса Хичкок стоял у своих нарт и пытался согреться, притопывая ногами и хлопая себя по бедрам. И тут он увидел Сипсу; она тащила за собой двух упиравшихся собак, при виде которых собаки Хичкока пришли в воинственное настроение, и ему пришлось пустить в ход рукоятку кнута, чтобы их утихомирить. Индейский поселок находился с наветренной стороны, и малейший звук мог обнаружить их присутствие.

— Запрягай их поближе к нартам, — приказал он, когда она набросила постромки на приведенных собак. — Мои должны быть впереди.

Но когда она сделала это, выпряженные собаки Хичкока накинулись на чужаков, и, хотя Хичкок попытался усмирить их прикладом ружья, поднялся шум и, нарушая тишину ночи, разнесся по спавшему поселку.

— Ну, теперь собак у нас будет больше чем достаточно, — мрачно заметил он и достал привязанный к нартам топор. — Запрягай тех, которых я буду швырять тебе, да хорошенько присматри-

вай за упряжкой.

Он сделал несколько шагов вперед и занял позицию между двумя соснами. Из поселка доносился лай собак, он ждал их приближения. Вскоре на тусклой снежной равнине показалось быстро росшее темное пятно. Это была собака.



Она шла большими ровными прыжками и, подвывая по-волчьи, вела всю свору. Хичкок притаился в тени. Как только собака поравнялась с ним, он быстрым движением схватил ее передние лапы, и она, перевернувшись через голову, уткнулась в снег. Затем он нанес ей точно рассчитанный удар пониже уха и бросил ее Сипсу. Пока она надевала на собаку упряжь, Хичкок, вооруженный топором, сдерживал натиск всей своры — клубок косматых тел с горящими глазами и сверкающими зубами бесновался у самых его ног. Сипсу работала быстро. Как только с первой собакой было покончено, Хичкок рванулся вперед, схватил и оглушил еще одну и тоже бросил ее девушке. Это повторилось трижды. Когда в упряжке оказался десяток рычащих псов, он крикнул: «Довольно!»

Из поселка уже спешила толпа. Впереди бежал молодой индеец. Он врезался в стаю собак и стал колотить их направо и налево, стараясь пробраться к тому месту, где стоял Хичкок. Но тот взмахнул прикладом ружья — и молодой индеец упал на колени, а затем опрокинулся навзничь. Бежавший сзади шаман видел это.

Хичкок приказал Сипсу трогаться. Едва она крикнула «чук!», как обезумевшие собаки рва-

нулись вперед, и Сипсу с трудом удержалась на нартах. Очевидно, боги были сердиты на шамана, ибо именно он оказался в эту минуту на дороге. Вожак наступил ему на лыжи, шаман упал, и вся упряжка вместе с нартами пронеслась по нему. Но он быстро вскочил на ноги, и эта ночь могла бы кончиться иначе, если бы Сипсу длинным кнутом не нанесла ему удар по лицу. Он все еще стоял посреди дороги, покачиваясь от боли, когда на него налетел Хичкок, бежавший за нартами. В результате этого столкновения познания первобытного теолога относительно силы кулака белого человека значительно пополнились. Поэтому, когда он вернулся в жилище вождя и принялся ораторствовать в совете, он был очень зол на всех белых людей.

— Ну, лентяи, вставайте! Пора! Завтрак будет готов прежде, чем вы успеете надеть свои мокасины.

Дейв Верц откинул медвежью шкуру, приподнялся и зевнул. Хоз потянулся, обнаружил, что отлежал руку, и стал сонно растирать ее.

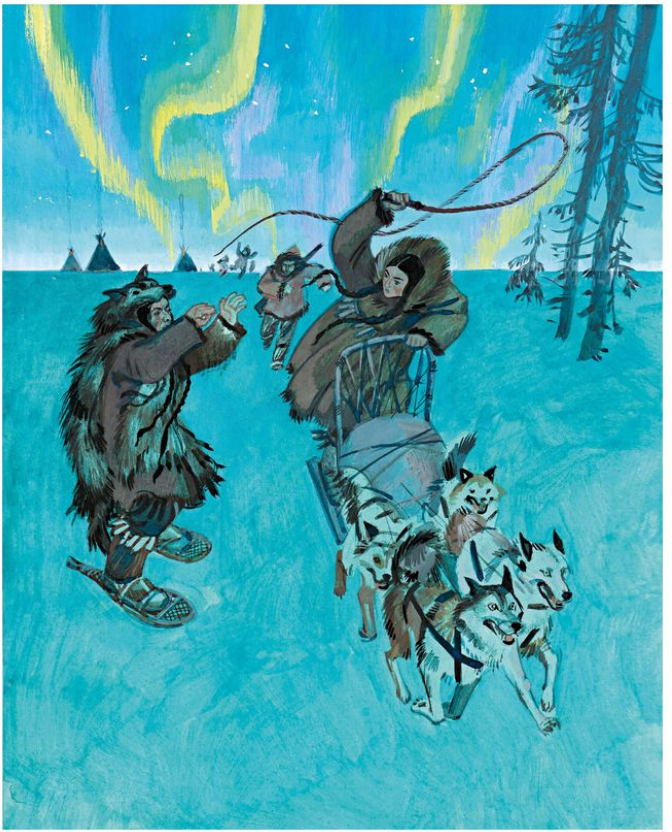
— Интересно, где Хичкок провел эту ночь? — спросил он, доставая свои мокасины. За ночь они задеревенели, и он, осторожно ступая в носках по снегу, направился к костру, чтобы оттаяла

обувь. — Слава богу, что он ушел. Хотя, надо признаться, работник он был отличный.

— Да. Только уж очень любил все по-своему поворачивать. В этом его беда. А Сипсу жалко. Она что, ему действительно так нравилась?

— Не думаю. Для него тут все дело в принципе. Он считал, что это неправильно, — ну и конечно же неправильно, только это еще не причина нам вмешиваться и всем отправиться на тот свет раньше времени.

— Да, принципы вещь неплохая, но все хорошо в свое время; когда отправляешься на Аляску, то принципы лучше оставлять дома. А? Правильно я говорю? — Верц присоединился к своему товарищу и тоже стал отогревать у костра мокасины. — Ты как считаешь: мы должны были вмешаться?



Зигмунд отрицательно покачал головой. Он был очень занят: коричневатая пена грозила перелиться через край кофейника и пора уже было переворачивать сало на сковородке. Кроме того, он думал о девушке со смеющимися, как море, глазами и тихонько напевал.

Его товарищи с улыбкой перемигнулись и замолчали. Хотя было уже около семи, до рассвета оставалось еще не меньше трех часов. Северное сияние погасло, и в ночной темноте лагерь представлял собой островок света; фигуры трех людей отчетливо вырисовывались на фоне костра.

Воспользовавшись наступившим молчанием, Зигмунд повысил голос и запел последний куплет своей старой песни:

Через год, через год,

Как созреет виноград…

Оглушительный ружейный залп разорвал тишину ночи. Хоз охнул, сделал движение, словно пытаясь выпрямиться, и тяжело осел на землю. Верц, уронив голову, опрокинулся на бок, потом захрипел, и кровь черной струей хлынула у него из горла. А золотоволосый Зигмунд с неоконченной песней на губах взмахнул руками и упал поперек костра.

Под глазом у шамана красовался здоровенный синяк, и его настроение было не из лучших. Он поссорился с вождем из-за ружья Верца и потребовал из мешка с бобами больше, чем ему полагалось. Кроме того, он забрал себе медвежью шкуру, что вызвало ропот среди остальных мужчин племени. В довершение всего он вздумал было убить собаку Зигмунда — ту, что подарила девушка с Юга, — но собаке удалось убежать, а шаман свалился в шурф и, задев за чан, вывихнул плечо. Когда лагерь был полностью разграблен, индейцы вернулись в свои жилища, и ликованию женщин не было конца. Вскоре в их краях появилось стадо лосей, и охотников посетила удача. Слава шамана еще больше возросла, стали даже поговаривать, что он принимает участие в совете богов.

Когда все ушли, овчарка вернулась в разоренный лагерь и всю ночь и следующий день выла, оплакивая умерших. Потом она исчезла. Но прошло немного лет, и индейцы-охотники стали замечать, что у лесных волков на шерсти появились необычные светлые пятна, каких они раньше не видели до той поры ни у одного волка.

1900



На берегах Сакраменто

Ветер мчится – хо-хо-хью! —
Прямо в Калифорнию.
Сакраменто – край богатый:
Золото гребут лопатой!

Перевод М. Богословской



Худенький мальчик тонким пронзительным

голосом распевал эту морскую песню, которую во всех частях света горланят матросы, выбирая якорь, чтобы двинуться в порт Фриско. Это был обыкновенный мальчуган, он никогда и моря-то в глаза не видел, но всего в двухстах футах от него — только спуститься с утеса — бурлила река Сакраменто. Малыш Джерри — так звали его, потому что был еще старый Джерри, его отец; от него-то и слышал Малыш эту песню и от него же унаследовал ярко-рыжие вихры, задорные голубые глаза и очень белую, усыпанную веснушками кожу.

Старый Джерри был моряк, он добрую половину своей жизни плавал по морям, а песня матросу сама просится на язык. Но однажды, в каком-то азиатском порту, когда он вместе с двадцатью другими матросами пел, выбиваясь из сил над проклятым якорем, слова этой песни впервые заставили его призадуматься всерьез. Очутившись в Сан-Франциско, он распрощался со своим судном и с морем и отправился поглядеть собственными глазами на берега Сакраменто.

Тут-то он и увидел золото. Он нанялся работать на рудник «Золотая Греза» и оказался в высшей степени полезным человеком при устройстве подвесной дороги на высоте двухсот футов над

рекой.

Затем эта дорога осталась под его надзором. Он следил за тросами, держал их в исправности, любил их и вскоре стал незаменимым работником на руднике «Золотая Греза». А потом он полюбил хорошенькую Маргарет Келли, но она очень скоро покинула его и малютку Джерри, который только-только начинал ходить, и уснула непробудным сном на маленьком кладбище, среди больших суровых сосен.

Старый Джерри так и не вернулся на морскую службу. Он жил возле своей подвесной дороги и всю любовь, на какую способна была его душа, отдал толстым стальным тросам и Малышу Джерри. Для рудника «Золотая Греза» наступили черные дни, но и тогда старик остался на службе у Компании — сторожить заброшенное предприятие.

Однако сегодня утром его что-то не было видно. Один только Малыш Джерри сидел на крылечке и распевал старую матросскую песню. Он сам приготовил себе завтрак и уже успел управиться с ним, а теперь вышел поглядеть на белый свет. Неподалеку, шагах в двадцати от него, возвышался громадный стальной барабан, на который наматывался бесконечный металлический трос.

Рядом с барабаном стояла тщательно закрепленная вагонетка для руды. Проследив взглядом головокружительный полет стальных тросов, перекинутых высоко над рекой, Малыш Джерри различил далеко на том берегу другой барабан и другую вагонетку.

Сооружение это приводилось в действие просто силой тяжести: вагонетка двигалась, увлекаемая собственным весом, а в это время с противоположного берега двигалась пустая вагонетка. Когда нагруженную вагонетку опорожняли, а пустую нагружали рудой — все повторялось снова, повторялось много, много сотен и тысяч раз, с тех пор как старый Джерри стал смотрителем подвесной дороги.

Малыш Джерри перестал петь, услышав приближающиеся шаги. Высокий человек, в синей рубахе, с винтовкой на плече, вышел из соснового леса. Это был Холл, сторож на руднике «Желтый Дракон», расположенном примерно в миле отсюда вверх по течению Сакраменто, где тоже была перекинута дорога на тот берег.

— Здорово, Малыш! — крикнул он. — Что ты тут делаешь один-одинешенек?

— А я здесь теперь за хозяина, — ответил Малыш Джерри как нельзя более небрежным тоном,

словно ему не впервой было оставаться одному. — Отец, знаете, уехал.

— Куда уехал? — спросил Холл.

— В Сан-Франциско. Он еще вчера вечером уехал. Брат у него умер, где-то в Старом Свете. Вот он и поехал с адвокатом потолковать. Завтра вечером вернется.

Все это Джерри выложил с гордым сознанием, что на него возложена большая ответственность — самолично сторожить рудник «Золотая Греза». Видно было в то же время, что он страшно рад замечательному приключению — возможности пожить совсем одному на этом утесе над рекой и самому готовить себе завтрак, обед и ужин.

— Ну, смотри будь поосторожней, — посоветовал ему Холл, — не вздумай баловать с тросами. А я вот иду посмотреть, не удастся ли подстрелить оленя в каньоне «Колченогой Коровы».

— Как бы дождя не было, — степенно промолвил Джерри.

— А мне что! Промокнуть, что ли, страшно? — засмеялся Холл и, повернувшись, скрылся между деревьями.

Предсказание Джерри насчет дождя сбылось. Часам к десяти сосны заскрипели, закачались, застонали, стекла в окнах задребезжали, дождь

захлестал длинными косыми струями. В половине двенадцатого Джерри развел огонь в очаге и, едва пробило двенадцать, уселся обедать.



«Сегодня уж, конечно, гулять не придется», — решил он, тщательно вымыв и убрав посуду после еды. И еще подумал: «Как, должно быть, вымок Холл! И удалось ли ему подстрелить оленя?»

Около часу дня постучали в дверь, и, когда Джерри открыл, в комнату стремительно ворвались мужчина и женщина, словно их силком впихнул ветер. Это были мистер и миссис Спиллен, фермеры, жившие в уединенной долине, милях в двенадцати от реки.

— А где Холл? — запыхавшись, отрывисто спросил Спиллен.

Джерри заметил, что фермер чем-то взволнован и куда-то торопится, а миссис Спиллен, по-видимому, очень расстроена.

Это была худая, совсем уже поблекшая женщина, много поработавшая на своем веку; унылый, беспросветный труд наложил на ее лицо тяжелую печать. Та же тяжкая жизнь согнула спину ее мужа, искорежила его руки и покрыла волосы сухим пеплом ранней седины.

— Он на охоту пошел в каньон «Колченогой Коровы». А вам что, на ту сторону, что ли, надо?

Женщина стала тихонько всхлипывать, а у Спиллена вырвался возглас, выражавший крайнюю досаду. Он подошел к окну. Джерри стал

с ним рядом и тоже поглядел в окно, в сторону подвесной дороги; тросов почти не было видно за густой пеленой дождя.

Обычно жители окрестных селений переправлялись через Сакраменто по канатной дороге «Желтого Дракона». За переправу полагалась небольшая плата, из которой Компания «Желтого Дракона» платила жалованье Холлу.

— Нам надо на тот берег, Джерри, — сказал Спиллен. — Отца у нее, — он ткнул пальцем в сторону плачущей жены, — задавило на руднике, в шахте «Клеверного Листа». Там взрыв был. Говорят, не выживет. А нам только что дали знать.

Джерри почувствовал, как у него екнуло сердце. Он понял, что Спиллен хочет переправиться по тросам «Золотой Грезы», но без старого Джерри он не мог решиться на такой шаг, потому что по их дороге не возили пассажиров и она уже давно находилась в бездействии.

— А может быть, Холл скоро придет, — промолвил мальчик.



Спиллен покачал головой.

— А отец где? — спросил он.

— В Сан-Франциско, — коротко ответил Джерри.

С хриплым стоном Спиллен яростно хлопнул кулаком по ладони. Жена его всхлипывала все громче, и Джерри слышал, как она причитала: «Ах, не поспеем, не поспеем, умрет…»

Мальчик чувствовал, что и сам вот-вот заплачет; он стоял в нерешительности, не зная, что предпринять. Но Спиллен решил за него.

— Послушай, Малыш, — сказал он тоном, не допускающим возражений, — нам с женой надо переправиться во что бы то ни стало по твоей дороге. Можешь ты нам помочь в этом деле — запустить эту штуку?

Джерри невольно попятился, точно ему предложили коснуться чего-то недозволенного.

— Я лучше пойду посмотрю, не вернулся ли Холл, — робко сказал он.

— А если нет?

Джерри снова замялся.

— Если случится что, я за все отвечаю. Видишь ли, Малыш, нам до зарезу надо на ту сторону. — Джерри нерешительно кивнул. — А дожидаться Холла нет никакого смысла, — продолжал

Спиллен, — ты сам понимаешь, что из каньона «Колченогой Коровы» он не скоро вернется. Так что идем-ка, запусти барабан.

«Неудивительно, что у миссис Спиллен был такой испуганный вид, когда мы помогали ей забираться в вагонетку», — невольно подумал Джерри, глянув вниз, в пропасть, которая сейчас казалась совсем бездонной. Дальнего берега, находившегося на расстоянии семисот футов, вовсе не было видно сквозь ливень, клубящиеся в вихре клочья облаков, яростную пену и брызги. А утес, на котором они стояли, уходил отвесной стеной прямо в бурлящую мглу, и казалось, что от стальных тросов туда, вниз, не двести футов, а по крайней мере миля.

— Ну, готово? — спросил Джерри.

— Давай! — во всю глотку заорал Спиллен, чтобы перекричать вой ветра.

Он уселся в вагонетку рядом с женой и взял ее за руку.

Джерри это не понравилось.

— Вам придется держаться обеими руками: ветер сильно швыряет! — крикнул он.

Муж с женой тотчас же разняли руки и крепко ухватились за края вагонетки, а Джерри осторожно отпустил тормозной рычаг. Барабан не спеша

завертелся, бесконечный трос стал разматываться, и вагонетка медленно двинулась в воздушную пропасть, цепляясь ходовыми колесиками за неподвижный рельсовый трос, протянутый вверху.



Джерри уже не в первый раз пускал в ход вагонетку. Но до сих пор ему приходилось это делать

только под наблюдением отца. Он осторожно регулировал скорость движения при помощи тормозного рычага. Тормозить было необходимо, потому что от бешеных порывов ветра вагонетка сильно раскачивалась, а перед тем, как совсем скрыться за стеной дождя, она так накренилась, что чуть не вывернула в пропасть свой живой груз.

После этого Джерри мог судить о движении вагонетки только по движению троса. Он очень внимательно следил, как трос разматывается с барабана.

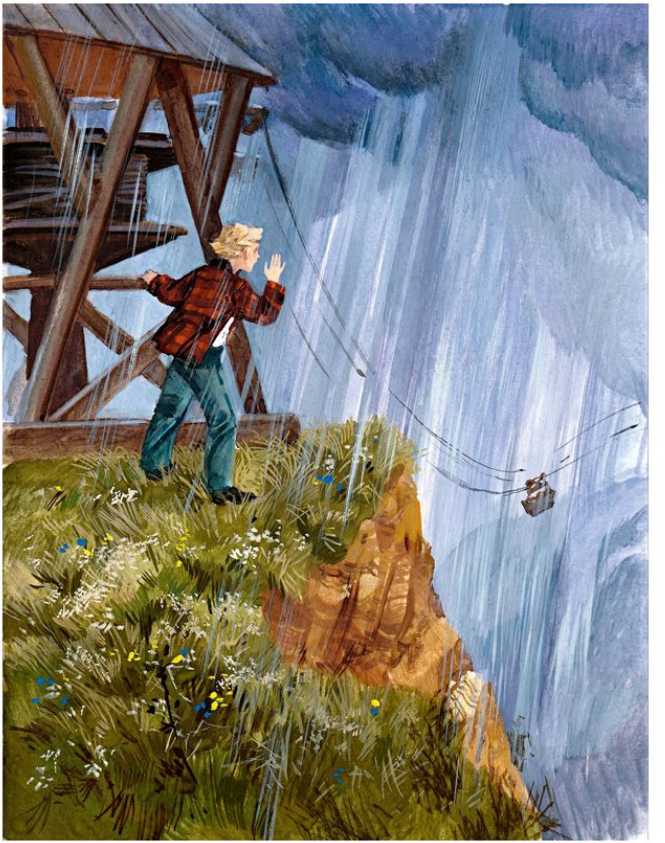
— Триста футов… — шептал он, по мере того как проходили отметки на кабеле, — триста пятьдесят… четыреста… четыреста…

Трос остановился. Джерри дернул рычаг тормоза, но трос не двигался. Мальчик обеими руками схватился за трос и потянул его на себя, стараясь сдвинуть его с места. Нет! Где-то явно застопорило. Но где именно, он не мог догадаться, и вагонетки не было видно. Он поднял глаза вверх и с трудом различил в воздухе пустую вагонетку, которая должна была двигаться к нему с такой же скоростью, с какой вагонетка с грузом удалялась. Она была от него примерно в двухстах пятидесяти футах. Это означало, что где-то в серой мгле,

на высоте двухсот футов над кипящей рекой и на расстоянии двухсот пятидесяти футов от другого берега, висят в воздухе застрявшие в пути Спиллен с женой.

Три раза Джерри окликал их во всю силу своих легких, но голос его тонул в неистовом реве непогоды. В то время как он лихорадочно перебирал в уме, что бы такое сделать, быстро бегущие облака над рекой вдруг поредели и разорвались, и он на мгновение увидел вздувшуюся Сакраменто внизу и висящую в воздухе вагонетку с людьми. Затем облака снова сошлись, и над рекой стало еще темнее, чем раньше.

Мальчик тщательно осмотрел барабан, но не обнаружил в нем никаких неполадок. По-видимому, что-то неисправно в барабане на том берегу. Страшно было представить себе, как эти двое висят над пропастью среди ревущей бури, раскачиваясь в утлой вагонетке, и не знают, почему она вдруг остановилась. И подумать только, что им придется так и висеть до тех пор, пока он не переправится на тот берег по тросам «Желтого Дракона» и не доберется до злополучного барабана, из-за которого все это стряслось!



Но тут Джерри вспомнил, что в чулане, где хранятся инструменты, есть блок и веревки, и со всех ног бросился за ними. Он быстро прикрепил блок к тросу и стал тянуть — тянул изо всех сил, так что руки прямо отрывались от плеч, а мускулы, казалось, вот-вот лопнут. Однако трос не сдвинулся с места. Теперь уж ничего другого не оставалось, как перебраться на тот берег.

Джерри уже успел промокнуть до костей, так что теперь сломя голову бежал к «Желтому Дракону», даже не замечая дождя. Ветер подгонял его, и бежать было легко, хоть и беспокоила мысль, что придется обойтись без помощи Холла и некому будет тормозить вагонетку. Он сам соорудил себе тормоз из крепкой веревки, которую накинул петлей на неподвижный трос.

Ветер с бешеной силой налетел на него, засвистел, заревел ему в уши, раскачивая и подбрасывая вагонетку, и Малыш Джерри еще яснее представил себе, каково сейчас тем двоим — Спиллену и его жене. Это придало ему мужества. Благополучно переправившись, он вскарабкался по откосу и, с трудом удерживаясь на ногах от порывов ветра, но все же пытаясь бежать, направился к барабану «Золотой Грезы».

Осмотрев его, Малыш с ужасом обнаружил, что

барабан в полном порядке. И на этом, и на другом конце все в исправности. Где же в таком случае застопорило? Не иначе как посредине!

Вагонетка с четой Спилленов находилась от него всего на расстоянии двухсот пятидесяти футов. Сквозь движущуюся дождевую завесу Джерри мог различить мужчину и женщину, скорчившихся на дне вагонетки и словно отданных на растерзание разъяренным стихиям. В промежутке между двумя шквалами он крикнул Спиллену, чтобы тот проверил, в порядке ли ходовые колесики.

Спиллен, по-видимому, услыхал его, потому что Джерри видел, как он, осторожно приподнявшись на колени, ощупал оба колесика вагонетки, затем повернулся лицом к берегу:

— Здесь все в порядке, Малыш!

Джерри едва расслышал эти слова, но смысл их дошел до него. Так что же все-таки случилось? Теперь уже можно было не сомневаться, что все дело в пустой вагонетке; ее не было видно отсюда, но он знал, что она висит там, в этой ужасной бездне, за двести футов от вагонетки Спиллена.

Он не задумываясь решил, что надо делать. Ему было всего четырнадцать лет, этому худощавому, подвижному мальчугану, но он вырос в горах,

отец посвятил его в разные тайны матросского искусства, и он совсем не боялся высоты.

В ящике с инструментами около барабана он разыскал старый гаечный ключ, небольшой железный прут и целую связку почти нового манильского троса. Он безуспешно пытался найти какую-нибудь дощечку, чтобы смастерить себе некое подобие матросской люльки, но под рукой не оказалось ничего, кроме громадных тесин; распилить их было нечем, и он вынужден был обойтись без удобного седла.

Седло, которое Джерри себе устроил, было проще простого: он перекинул канат через неподвижный трос, на котором висела пустая вагонетка, и, затянув его узлом, сделал большую петлю; сидя в этой петле, он без труда мог достать руками до троса и держаться за него. А вверху, где петля должна была тереться о металлический трос, он подложил свою куртку, потому что, как ни искал, нигде не мог найти тряпки или старого мешка.

Наскоро закончив все эти приготовления, Джерри повис в своей петле и двинулся прямо в бездну, перебирая руками трос. Он взял с собой гаечный ключ, небольшой железный прут и несколько футов веревки. Путь его лежал не

горизонтально, а несколько вверх, но не подъем затруднял его, а страшный ветер. Когда бешеные порывы ветра швыряли Джерри то туда, то сюда и чуть не переворачивали кругом, он чувствовал, что сердце у него замирает от страха. Ведь трос совсем старый… а вдруг он не выдержит его тяжести и этих бешеных натисков ветра — не выдержит и оборвется?

Это был самый откровенный страх. Джерри чувствовал, как у него сосет под ложечкой, а колени дрожат мелкой дрожью, которую он не в силах был сдержать.

Но Малыш мужественно продолжал свой путь. Трос был ветхий, раздерганный, острые концы оборванных проволок, торчавшие во все стороны, в кровь раздирали руки. Джерри заметил это, только когда решил сделать первую остановку, и попытался докричаться до Спилленов. Их вагонетка висела теперь прямо под ним, на расстоянии всего нескольких футов, так что он уже мог объяснить им, что случилось и зачем он пустился в это путешествие.

— Рад бы помочь тебе, — крикнул Спиллен, — да жена у меня совсем не в себе! Смотри, Малыш, будь осторожнее! Сам я напросился на это, но теперь, кроме тебя, нас некому вызволить.

— Да уж так я вас не оставлю! — крикнул ему в ответ Джерри. — Скажите миссис Спиллен, что не пройдет и минуты, как она будет на той стороне.

Под слепящим проливным дождем, болтаясь из стороны в сторону, как соскочивший маятник, чувствуя нестерпимую боль в изодранных ладонях, задыхаясь от усилий и от врывавшейся в легкие стремительной массы воздуха, Джерри наконец добрался до пустой вагонетки.

С первого же взгляда мальчик убедился, что не напрасно совершил это страшное путешествие. Вагонетка висела на двух колесиках; одно из них сильно поистерлось за время долгой службы и соскочило с троса, который был теперь намертво зажат между самим колесиком и его обоймой.

Ясно было, что прежде всего надо освободить колесико из обоймы, а на время этой работы вагонетку необходимо крепко привязать веревкой к неподвижному тросу.

Через четверть часа Джерри наконец удалось привязать вагонетку — это было все, чего он добился. Чека, державшая колесико на оси, совсем заржавела и стала намертво. Джерри изо всей силы колотил по ней одной рукой, а другой держался как мог, но ветер непрерывно налетал и раскачивал его, и он очень часто промахивался и

не попадал по чеке. Девять десятых всех его усилий уходило на то, чтобы удержаться на месте; опасаясь уронить ключ, он привязал его к руке носовым платком.



Прошло уже полчаса. Джерри сдвинул чеку с места, но вытащить ее ему не удалось. Десятки раз он готов был отчаяться, все казалось напрасным — и опасность, которой он себя подвергал, и все его старания. Но внезапно его словно осенило.

С лихорадочной поспешностью он стал рыться в карманах. И нашел то, что ему было нужно, — длинный толстый гвоздь.

Если бы не этот гвоздь, который неведомо когда и как попал к нему в карман, Джерри пришлось бы снова возвращаться на берег. Продев гвоздь в отверстие чеки, он наконец ухватил ее, и через минуту чека выскочила из оси.

Затем началась возня с железным прутом, которым он старался освободить колесико, застрявшее между тросом и обоймой. Когда это было сделано, Джерри поставил колесико на старое место и, с помощью веревки подтянув вагонетку, посадил наконец колесико на металлический трос.

Однако на все это потребовалось немало времени. Часа полтора прошло с тех пор, как Джерри сюда добрался. И вот теперь он наконец решился вылезти из своего «седла» и прыгнуть в вагонетку. Он отвязал веревку, которая ее держала, и колесики медленно заскользили по тросу. Вагонетка двинулась. И мальчик знал, что где-то там, внизу, — хотя ему это и не было видно — вагонетка со Спилленами тоже двинулась, только в обратном направлении.

Теперь ему уже не нужен был тормоз, потому

что вес его тела достаточно уравновешивал тяжесть другой вагонетки. И скоро из мглы облаков показался высокий утес и старый, знакомый, уверенно вращавшийся барабан.

Джерри соскочил на землю и закрепил свою вагонетку. Он проделал это спокойно и тщательно. А потом вдруг — совсем уже не по-геройски — бросился на землю у самого барабана, невзирая на бурю и ливень, и громко зарыдал.

Причин для этого было немало: нестерпимая боль в изодранных руках, страшная усталость и сознание, что он наконец освободился от ужасного нервного напряжения, не отпускавшего его несколько часов, и еще — горячее, захватывающее чувство радости оттого, что Спиллен с женой теперь в безопасности.

Они были далеко и, понятно, не могли его поблагодарить, но он знал, что где-то там, за разъяренной, беснующейся рекой, они сейчас спешат по тропинке к шахте «Клеверного Листа».

Джерри, пошатываясь, побрел к дому. Белая ручка двери окрасилась кровью, когда он взялся за нее, но он даже не заметил этого.

Мальчик был горд и доволен собой, ибо твердо знал, что поступил правильно; а так как он еще не умел хитрить, то не боялся признаться самому себе, что сделал хорошее дело. Одно только маленькое сожаление копошилось у него в сердце: ах, если бы отец был здесь и видел его!

1904



Любовь к жизни

Долгой жизни короткий итог:
Они резались в кости с судьбой;
Им везло – но сквозь пальцы утек
Их удачи песок золотой[1].

Перевод Н. Дарузес



[1] Сноски: 1

Цитата из стихотворения американского писателя Ганнибала Хэмлина Гарленда (1860–1940) «Золотоискатели» (1899). Пер. С. Антонова.

Прихрамывая, они спускались к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, стянутые ремнями. Каждый из них нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз.

— Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике, — сказал один.

Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ничего ему не ответил.

Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная как лед — такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору.

Второй путник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова — он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова

пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего спутника: тот все так же шел вперед, даже не оглядываясь.

Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул:

— Слушай, Билл, я вывихнул ногу!

Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и, хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя.

Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше. Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кончиком языка.

— Билл! — крикнул он.

Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ долго следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой линии горизонта, образованной гребнем невысокого холма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он

остался один после ухода Билла.

Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видное сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без видимых границ и очертаний. Опираясь на одну ногу всей своей тяжестью, путник достал часы. Было уже четыре. Последние недели две он сбился со счета; так как стоял конец июля и начало августа, то он знал, что солнце должно находиться на северо-западе. Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими мрачными холмами, лежит Большое Медвежье озеро и что в том же направлении проходит по канадским Бесплодным землям страшный путь полярного круга. Речка, посреди которой он стоял, была притоком реки Коппермайн, а Коппермайн течет также на север и впадает в залив Коронации, в Северный Ледовитый океан. Сам он никогда не бывал там, но видел однажды эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Он снова окинул взглядом тот круг вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселая. Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линией. Ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни, — и в его глазах появилось выражение страха.

— Билл! — прошептал он и повторил опять: — Билл!

Он присел на корточки посреди мутного ручья, словно бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с плеском упало в воду. Это заставило его опомниться. Он пересилил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду, нашарил ружье, потом передвинул тюк ближе к левому плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу, и медленно и осторожно пошел к берегу, морщась от боли.

Он шел не останавливаясь. Не обращая внимания на боль, с отчаянной решимостью, он торопливо взбирался на вершину холма, за гребнем которого скрылся Билл, — и сам он казался еще более смешным и неуклюжим, чем хромой, едва ковылявший Билл. Но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет! На него снова напал страх, и, снова поборов его, он передвинул тюк еще дальше к левому плечу и, хромая, стал спускаться вниз.

Дно долины было болотистое, вода пропитывала густой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала из-под ног, и подошва с хлюпаньем

отрывалась от влажного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник перебирался от озерка к озерку, по камням, торчавшим во мху, как островки.



Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что еще немного — и он подойдет к тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое озеро Титчинничили, что на местном языке означает «страна маленьких палок». А в озеро впадает ручей, и вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камыш — это он хорошо помнил, — но деревьев там нет, и он пойдет вверх по ручью до самого водораздела. От водораздела начинается другой ручей, текущий на запад; он спустится по нему до реки Диз и там найдет свой тайник под перевернутым челноком, заваленным камнями. В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удочек и маленькая сеть — все нужное для того, чтобы добывать себе пропитание. А еще там есть мука, правда немного, и кусок грудинки, и бобы.

Билл подождет его там, и они вдвоем спустятся по реке Диз до Большого Медвежьего озера, а потом переправятся через озеро и пойдут на юг, все на юг, пока не доберутся до реки Маккензи. На юг, все на юг, — а зима будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и дни станут холодней, — на юг, к какой-нибудь фактории Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья и где сколько хочешь еды.

Вот о чем думал путник, с трудом пробираясь вперед. Но как ни трудно было ему идти, еще труднее было уверить себя в том, что Билл его не бросил, что Билл, конечно, ждет его у тайника. Он должен был так думать, иначе не имело никакого смысла бороться дальше — оставалось только лечь на землю и умереть. И пока тусклый диск солнца медленно скрывался на северо-западе, он успел рассчитать — и не один раз — каждый шаг того пути, который предстоит проделать им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы. Он снова и снова перебирал мысленно запасы пищи в своем тайнике и запасы на складе Компании Гудзонова залива. Он ничего не ел уже два дня, но еще дольше он не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту — оставалось только горькое жесткое семя. Он знал, что ими не насытишься, но все-таки терпеливо жевал, потому что надежда не хочет считаться с опытом.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о камень, пошатнулся и упал от слабости и утомления. Довольно долго он лежал на боку не шевелясь, потом высвободился из ремней, неловко приподнялся и сел. Еще не стемнело, и в

сумеречном свете он стал шарить среди камней, собирая клочки сухого мха. Набрав целую охапку, он развел костер — тлеющий, дымный костер — и поставил на него котелок с водой.

Он распаковал тюк и прежде всего сосчитал, сколько у него спичек. Их было шестьдесят семь. Чтобы не ошибиться, он пересчитывал три раза. Он разделил их на три кучки и каждую завернул в пергамент; один сверток он положил в пустой кисет, другой — за подкладку изношенной шапки, а третий — за пазуху. Когда он проделал все это, ему вдруг стало страшно; он развернул все три свертка и снова пересчитал. Спичек было по-прежнему шестьдесят семь.

Он просушил мокрую обувь у костра. От мокасин остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки прохудились насквозь, и ноги у него были стерты до крови. Лодыжка сильно болела, и он осмотрел ее: она распухла, стала почти такой же толстой, как колено. Он оторвал длинную полосу от одного одеяла и крепко-накрепко перевязал лодыжку, оторвал еще несколько полос и обмотал ими ноги, заменив этим носки и мокасины, потом выпил кипятку, завел часы и лег, укрывшись одеялом.

Он спал как убитый. К полуночи стемнело, но

не надолго. Солнце взошло на северо-востоке, вернее, в той стороне начало светать, потому что солнце скрывалось за серыми тучами.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он посмотрел на серое небо и почувствовал, что голоден. Повернувшись и приподнявшись на локте, он услышал громкое фырканье и увидел большого оленя, который настороженно и с любопытством смотрел на него. Олень стоял от него шагах в пятидесяти, не больше, и ему сразу представился запах и вкус оленины, шипящей на сковородке. Он невольно схватил незаряженное ружье, прицелился и нажал курок. Олень всхрапнул и бросился прочь, стуча копытами по камням.

Он выругался, отшвырнул ружье и со стоном попытался встать на ноги. Это удалось ему с большим трудом и не скоро. Суставы у него словно заржавели, и согнуться или разогнуться стоило каждый раз большого усилия воли. Когда он наконец поднялся на ноги, ему понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться и стать прямо, как полагается человеку.

Он взобрался на небольшой холмик и осмотрелся кругом. Ни деревьев, ни кустов — ничего, кроме серого моря мхов, где лишь изредка видне-

лись серые валуны, серые озерки и серые ручьи. Небо тоже было серое. Ни солнечного луча, ни проблеска солнца! Он потерял представление, где находится север, и забыл, с какой стороны он пришел вчера вечером. Но он не сбился с пути. Это он знал. Скоро он придет в страну маленьких палок. Он знал, что она где-то налево, недалеко отсюда — быть может, за следующим пологим холмом.

Он вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному, проверил, целы ли его три свертка со спичками, но не стал их пересчитывать. Однако он остановился в раздумье над плоским, туго набитым мешочком из оленьей кожи. Мешочек был невелик, он мог поместиться между ладонями, но весил пятнадцать фунтов — столько же, сколько все остальное, — и это его тревожило. Наконец он отложил мешочек в сторону и стал свертывать тюк, потом взглянул на мешочек, быстро схватил его и вызывающе оглянулся по сторонам, словно пустыня хотела отнять у него золото. И когда он поднялся на ноги и поплелся дальше, мешочек лежал в тюке у него за спиной.

Он свернул налево и пошел, время от времени останавливаясь и срывая болотные ягоды. Нога у него одеревенела, он стал хромать сильнее, но эта

боль ничего не значила по сравнению с болью в желудке. Голод мучил его невыносимо. Боль все грызла и грызла его, и он уже не понимал, в какую сторону надо идти, чтобы добраться до страны маленьких палок. Ягоды не утоляли грызущей боли, от них только щипало язык и нёбо.

Когда он дошел до небольшой ложбины, навстречу ему с камней и кочек поднялись белые куропатки, шелестя крыльями и крича: кр, кр, кр… Он бросил в них камнем, но промахнулся. Потом, положив тюк на землю, стал подкрадываться к ним ползком, как кошка подкрадывается к воробьям. Штаны у него порвались об острые камни, от колен тянулся кровавый след, но он не чувствовал этой боли — голод заглушал ее. Он полз по мокрому мху; одежда его намокла, тело зябло, но он не замечал ничего, так сильно терзал его голод. А белые куропатки все вспархивали вокруг него, и наконец это «кр, кр» стало казаться ему насмешкой; он выругал куропаток и начал громко передразнивать их крик.

Один раз он чуть не наткнулся на куропатку, которая, должно быть, спала. Он не видел ее, пока она не вспорхнула ему прямо в лицо из своего убежища среди камней. Как ни быстро вспорхнула куропатка, он успел схватить ее таким же

быстрым движением — и в руке у него осталось три хвостовых пера. Глядя, как улетает куропатка, он чувствовал к ней такую ненависть, будто она причинила ему страшное зло. Потом он вернулся к своему тюку и взвалил его на спину.

К середине дня он дошел до болота, где дичи было больше. Словно дразня его, мимо прошло стадо оленей, голов в двадцать, — так близко, что их можно было подстрелить из ружья. Его охватило дикое желание бежать за ними, он был уверен, что догонит стадо. Навстречу ему попалась черно-бурая лисица с куропаткой в зубах. Он закричал. Крик был страшен, но лисица, отскочив в испуге, все же не выпустила добычи.

Вечером он шел по берегу мутного от извести ручья, поросшего редким камышом. Крепко ухватившись за стебель камыша у самого корня, он выдернул что-то вроде луковицы, не крупнее обойного гвоздя. Луковица оказалась мягкая и аппетитно хрустела на зубах. Но волокна были жесткие, такие же водянистые, как ягоды, и не насыщали. Он сбросил свою поклажу и на четвереньках пополз в камыши, хрустя и чавкая, словно жвачное животное.



Он очень устал, и его часто тянуло лечь на землю и уснуть, но желание дойти до страны маленьких палок, а еще больше голод не давали ему покоя. Он искал лягушек в озерах, копал руками землю в надежде найти червей, хотя знал, что так далеко на севере не бывает ни червей, ни лягушек.

Он заглядывал в каждую лужу и наконец с наступлением сумерек увидел в такой луже одну-единственную рыбку величиной с пескаря. Он опустил в воду правую руку по самое плечо, но рыба от него ускользнула. Тогда он стал ловить ее обеими руками и поднял всю муть со дна. От волнения он оступился, упал в воду и вымок до пояса. Он так замутил воду, что рыбку нельзя было разглядеть, и ему пришлось дожидаться, пока муть осядет на дно.

Он опять принялся за ловлю и ловил, пока вода опять не замутилась. Больше ждать он не мог. Отвязав жестяное ведерко, он начал вычерпывать воду. Сначала он вычерпывал с яростью, весь облился и выплескивал воду так близко от лужи, что она стекала обратно. Потом стал черпать осторожнее, стараясь быть спокойным, хотя сердце у него сильно билось и руки дрожали. Через полчаса в луже почти не осталось воды. Со

дна уже ничего нельзя было зачерпнуть. Но рыба исчезла. Он увидел незаметную расщелину среди камней, через которую рыбка проскользнула в соседнюю лужу, такую большую, что ее нельзя было вычерпать и за сутки. Если б он заметил эту щель раньше, он с самого начала заложил бы ее камнем и рыба досталась бы ему.

В отчаянии он опустился на мокрую землю и заплакал. Сначала он плакал тихо, потом стал громко рыдать, будя безжалостную пустыню, которая окружала его; и долго еще он плакал без слез, сотрясаясь от рыданий.

Он развел костер и согрелся, выпив много кипятку, потом устроил себе ночлег на каменистом выступе, так же как и в прошлую ночь. Перед сном он проверил, не намокли ли спички, и завел часы. Одеяла были сырые и холодные на ощупь. Вся нога горела от боли, как в огне. Но он чувствовал только голод, и ночью ему снились пиры, званые обеды и столы, заставленные едой.

Он проснулся озябший и больной. Солнца не было. Серые краски земли и неба стали темней и глубже. Дул резкий ветер, и первый снегопад выбелил холмы. Воздух словно сгустился и побелел, пока он разводил костер и кипятил воду. Это повалил мокрый снег большими влажными

хлопьями. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но снег валил все гуще и гуще, застилая землю, и наконец весь собранный им мох отсырел, и костер погас.

Это было ему сигналом снова взвалить тюк на спину и брести вперед, неизвестно куда. Он уже не думал ни о стране маленьких палок, ни о Билле, ни о тайнике у реки Диз. Им владело только одно желание: есть! Он помешался от голода. Ему было все равно, куда идти, лишь бы идти по ровному месту. Под мокрым снегом он ощупью искал водянистые ягоды, выдергивал стебли камыша с корнями. Но все это было пресно и не насыщало. Дальше ему попалась какая-то кислая на вкус травка, и он съел, сколько нашел, но этого было очень мало, потому что травка стлалась по земле и ее нелегко было найти под снегом.

В ту ночь у него не было ни костра, ни горячей воды, и он залез под одеяло и уснул тревожным от голода сном. Снег превратился в холодный дождь. Он то и дело просыпался, чувствуя, что дождь мочит ему лицо. Наступил день — серый день без солнца. Дождь перестал. Теперь чувство голода у путника притупилось. Осталась тупая, ноющая боль в желудке, но это его не очень мучило. Мысли у него прояснились, и он опять думал о стране

маленьких палок и о своем тайнике у реки Диз.

Он разорвал остаток одного одеяла на полосы и обмотал стертые до крови ноги, потом перевязал больную ногу и приготовился к дневному переходу. Когда дело дошло до тюка, он долго глядел на мешочек из оленьей кожи, но в конце концов захватил и его.

Дождь растопил снег, и только верхушки холмов оставались белыми. Проглянуло солнце, и путнику удалось определить стороны света, хотя теперь он знал, что сбился с пути. Должно быть, блуж-дая в эти последние дни, он отклонился слишком далеко влево. Теперь он свернул вправо, чтобы выйти на правильный путь.

Муки голода уже притупились, но он чувствовал, что ослаб. Ему приходилось часто останавливаться и отдыхать, собирая болотные ягоды и луковицы камыша. Язык у него распух, стал сухим, словно шерстистым, и во рту был горький вкус. А больше всего его донимало сердце. После нескольких минут пути оно начинало безжалостно стучать, а потом словно подскакивало и мучительно трепетало, доводя его до удушья и головокружения, чуть не до обморока.

Около полудня он увидел двух пескарей в большой луже. Вычерпать воду было немыслимо, но

теперь он стал спокойнее и ухитрился поймать их жестяным ведерком. Они были с мизинец длиной, не больше, но ему не особенно хотелось есть. Боль в желудке все слабела, становилась все менее острой, как будто желудок дремал. Он съел рыбок сырыми, старательно их разжевывая, и это было чисто рассудочным действием. Есть ему не хотелось, но он знал, что это нужно, чтобы остаться в живых.

Вечером он поймал еще трех пескарей, двух съел, а третьего оставил на завтрак. Солнце высушило изредка попадавшиеся клочки мха, и он согрелся, вскипятив себе воды. В этот день он прошел не больше десяти миль, а на следующий, двигаясь, только когда позволяло сердце, — не больше пяти. Но боли в желудке уже не беспокоили его; желудок словно уснул. Местность была ему теперь незнакома, олени попадались все чаще и волки тоже. Очень часто их вой доносился до него из пустынной дали, а один раз он видел трех волков, которые крадучись перебегали ему дорогу.

Еще одна ночь, и наутро, образумившись наконец, он развязал ремешок, стягивавший кожаный мешочек. Из него желтой струйкой посыпался крупный золотой песок и самородки. Он разделил

золото пополам, одну половину спрятал на видном издалека выступе скалы, завернув в кусок одеяла, а другую всыпал обратно в мешок. Свое последнее одеяло он тоже пустил на обмотки для ног. Но ружье он все еще не бросал, потому что в тайнике у реки Диз лежали патроны.

День выдался туманный. В этот день в нем снова пробудился голод. Путник очень ослабел, и голова у него кружилась так, что по временам он ничего не видел. Теперь он постоянно спотыкался и падал и однажды свалился прямо на гнездо куропатки. Там было четыре только что вылупившихся птенца, не старше одного дня; каждого хватило бы только на глоток; и он съел их с жадностью, запихивая в рот живыми: они хрустели у него на зубах, как яичная скорлупа. Куропатка-мать с громким криком летала вокруг него. Он хотел подшибить ее прикладом ружья, но она увернулась. Тогда он стал бросать в нее камнями и перебил ей крыло. Куропатка бросилась от него прочь, вспархивая и волоча перебитое крыло, но он не отставал.

Птенцы только раздразнили его голод. Неуклюже подскакивая и припадая на больную ногу, он то бросал в куропатку камнями и хрипло вскрикивал, то шел молча, угрюмо и терпеливо

поднимаясь после каждого падения, и тер рукой глаза, чтобы отогнать головокружение, грозившее обмороком.



Погоня за куропаткой привела его в болотистую низину, и там он заметил человеческие следы на мокром мху. Следы были не его — это он видел. Должно быть, следы Билла. Но он не мог остановиться, потому что белая куропатка убегала

все дальше. Сначала он поймает ее, а потом уже вернется и рассмотрит следы.

Он загнал куропатку, но и сам обессилел. Она лежала на боку, тяжело дыша, и он, тоже тяжело дыша, лежал в десяти шагах от нее, не в силах подползти ближе. А когда он отдохнул, она тоже собралась с силами и упорхнула от его жадно протянутой руки. Погоня началась снова. Но тут стемнело, и птица скрылась. Споткнувшись от усталости, он упал с тюком на спине и поранил себе щеку. Он долго не двигался, потом повернулся на бок, завел часы и пролежал так до утра.

Опять туман. Половину одеяла он израсходовал на обмотки. Следы Билла ему не удалось найти, но теперь это было не важно. Голод упорно гнал его вперед. Но что, если… Билл тоже заблудился? К полудню он совсем выбился из сил. Он опять разделил золото, на этот раз просто высыпав половину на землю. К вечеру он выбросил и другую половину, оставив себе только обрывок одеяла, жестяное ведерко и ружье.

Его начали мучить навязчивые мысли. Почему-то он был уверен, что у него остался один патрон, — ружье заряжено, он просто этого не заметил. И в то же время он знал, что в магазине нет патрона. Эта мысль неотвязно преследовала

его. Он боролся с ней часами, потом осмотрел магазин и убедился, что никакого патрона в нем нет. Разочарование было так сильно, словно он и в самом деле ожидал найти там патрон.

Прошло около получаса, потом навязчивая мысль вернулась к нему снова. Он боролся с ней и не мог побороть и, чтобы хоть чем-нибудь помочь себе, опять осмотрел ружье. По временам рассудок его мутился, и он продолжал брести дальше бессознательно, как автомат; странные мысли и нелепые представления точили его мозг, как черви. Но он быстро приходил в сознание — муки голода постоянно возвращали его к действительности. Однажды его привело в себя зрелище, от которого он тут же едва не упал без чувств. Он покачнулся и зашатался, как пьяный, стараясь удержаться на ногах. Перед ним стояла лошадь. Лошадь! Он не верил своим глазам. Их заволакивал густой туман, пронизанный яркими точками света. Он стал яростно тереть глаза и, когда зрение прояснилось, увидел перед собой не лошадь, а большого бурого медведя. Зверь разглядывал его с недружелюбным любопытством.

Он уже вскинул было ружье, но быстро опомнился. Опустив ружье, он вытащил охотничий нож из шитых бисером ножен. Перед ним было

мясо и — жизнь. Он провел большим пальцем по лезвию ножа. Лезвие было острое, и кончик тоже острый. Сейчас он бросится на медведя и убьет его. Но сердце заколотилось, словно предостерегая: тук, тук, тук, — потом бешено подскочило кверху и дробно затрепетало; лоб сдавило, словно железным обручем, и в глазах потемнело.

Отчаянную храбрость смыло волной страха. Он так слаб — что будет, если медведь нападет на него? Он выпрямился во весь рост как можно внушительнее, выхватил нож и посмотрел медведю прямо в глаза. Зверь неуклюже шагнул вперед, поднялся на дыбы и зарычал. Если бы человек бросился бежать, медведь погнался бы за ним. Но человек не двинулся с места, осмелев от страха; он тоже зарычал, свирепо, как дикий зверь, выражая этим страх, который неразрывно связан с жизнью и тесно сплетается с ее самыми глубокими корнями.

Медведь отступил в сторону, угрожающе рыча, в испуге перед этим таинственным существом, которое стояло прямо и не боялось его. Но человек все не двигался. Он стоял как вкопанный, пока опасность не миновала, а потом, весь дрожа словно в лихорадке, повалился на мокрый мох.

Собравшись с силами, он пошел дальше, тер-

заясь новым страхом. Это был уже не страх голодной смерти: теперь он боялся умереть насильственной смертью, прежде чем последнее стремление сохранить жизнь заглохнет в нем от голода. Кругом были волки. Со всех сторон в этой пустыне доносился их вой, и самый воздух вокруг дышал угрозой так неотступно, что он невольно поднял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище колеблемой ветром палатки.

Волки по двое и по трое то и дело перебегали ему дорогу. Но они не подходили близко. Их было не так много; кроме того, они привыкли охотиться за оленями, которые не сопротивлялись им, а это странное животное ходило на двух ногах и, должно быть, царапалось и кусалось.

К вечеру он набрел на кости, разбросанные там, где волки настигли свою добычу. Час тому назад это был живой олененок, он резво бегал и мычал. Человек смотрел на кости, дочиста обглоданные, блестящие и розовые, оттого что в их клетках еще не угасла жизнь. Может быть, к концу дня и от него останется не больше? Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Умереть — уснуть. Смерть — это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать?

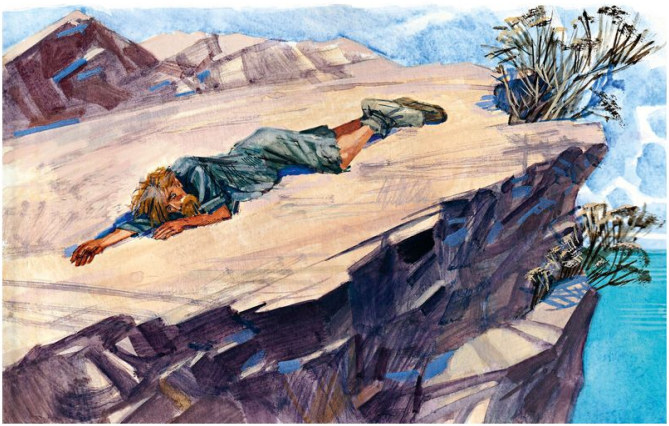
Но он не долго рассуждал. Вскоре он уже сидел на корточках, держа кость в зубах и высасывая из нее последние частицы жизни, которые еще окрашивали ее в розовый цвет. Сладкий вкус мяса, еле слышный, неуловимый, как воспоминание, доводил его до бешенства. Он стиснул зубы крепче и стал грызть. Иногда ломалась кость, иногда его зубы. Потом он стал дробить кости камнем, размалывая их в кашу, и глотать с жадностью. Второпях он попадал себе по пальцам и все-таки, несмотря на спешку, находил время удивляться, почему он не чувствует боли от ударов.

Наступили страшные дни дождей и снега. Он уже не помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пускался в путь. Шел не разбирая времени, и ночью и днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед, когда угасавшая в нем жизнь вспыхивала и разгоралась ярче. Он больше не боролся, как борются люди. Это сама жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он не страдал больше. Нервы его притупились, словно оцепенели, в мозгу теснились странные видения, радужные сны.

Он не переставая сосал и жевал раздробленные кости, которые подобрал до последней крошки и унес с собой. Больше он уже не поднимался

на холмы, не пересекал водоразделов, а брел по отлогому берегу большой реки, которая текла по широкой долине. Перед его глазами были только видения. Его душа и тело шли рядом и все же порознь — такой тонкой стала нить, связывающая их.

Он пришел в сознание однажды утром, лежа на плоском камне. Ярко светило и пригревало солнце. Издали ему слышно было мычание оленят. Он смутно помнил дождь, ветер и снег, но сколько времени его преследовала непогода — два дня или две недели, — он не знал.



Долгое время он лежал неподвижно, и щедрое солнце лило на него свои лучи, напитывая теплом его жалкое тело. «Хороший день», — подумал он. Быть может, ему удастся определить направление по солнцу. Сделав мучительное усилие, он повернулся на бок. Там, внизу, текла широкая, медлительная река. Она была ему незнакома, и это его удивило. Он медленно следил за ее те-

чением, смотрел, как она вьется среди голых, угрюмых холмов, еще более угрюмых и низких, чем те, которые он видел до сих пор. Медленно, равнодушно, без всякого интереса он проследил за течением незнакомой реки почти до самого горизонта и увидел, что она вливается в светлое блистающее море. И все же это его не взволновало. «Очень странно, — подумал он, — это или мираж, или видение, плод расстроенного воображения». Он еще более убедился в этом, когда увидел корабль, стоявший на якоре посреди блистающего моря. Он закрыл глаза на секунду и снова открыл их. Странно, что видение не исчезает! А впрочем, нет ничего странного. Он знал, что в сердце этой бесплодной земли нет ни моря, ни кораблей, так же как нет патронов в его незаряженном ружье.

Он услышал за своей спиной какое-то сопение — не то вздох, не то кашель. Очень медленно, преодолевая крайнюю слабость и оцепенение, он повернулся на другой бок. Поблизости он ничего не увидел и стал терпеливо ждать. Опять послышались сопение и кашель, и между двумя островерхими камнями, не больше чем шагах в двадцати от себя, он увидел серую голову волка. Уши не торчали кверху, как это ему приходилось

видеть у других волков, глаза помутнели и налились кровью, голова бессильно понурилась. Волк, верно, был болен: он все время чихал и кашлял.

«Вот это по крайней мере не кажется», — подумал он и опять повернулся на другой бок, чтобы увидеть настоящий мир, не застланный теперь дымкой видений. Но море все так же сверкало в отдалении, и корабль был ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он закрыл глаза и стал думать — и в конце концов понял, в чем дело. Он шел на северо-восток, удаляясь от реки Диз, и попал в долину реки Коппермайн. Эта широкая, медлительная река и была Коппермайн. Это блистающее море — Ледовитый океан. Этот корабль — китобойное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки Маккензи, оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту Компании Гудзонова залива, которую видел когда-то, и все стало ясно и понятно.

Он сел и начал думать о самых неотложных делах. Обмотки из одеяла совсем износились, и ноги у него были содраны до живого мяса. Последнее одеяло было израсходовано. Ружье и нож он потерял. Шапка тоже пропала, и вместе с ней спички, спрятанные за подкладку, но спички в кисете за пазухой, завернутые в пергамент, оста-

лись целы и не отсырели. Он посмотрел на часы. Они все еще шли и показывали одиннадцать часов. Должно быть, он не забывал заводить их.

Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на страшную слабость, он не чувствовал никакой боли. Есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприятна ему, и все, что он ни делал, делалось им по велению рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими ступни. Ведерко он почему-то не бросил: надо будет выпить кипятку, прежде чем начать путь к кораблю — очень тяжелый, как он предвидел.

Все его движения были медленны. Он дрожал, как в параличе. Он хотел набрать сухого мха, но не смог подняться на ноги. Несколько раз он пробовал встать и в конце концов пополз на четвереньках. Один раз он подполз очень близко к больному волку. Зверь неохотно посторонился и облизнул морду, насилу двигая языком. Человек заметил, что язык был не здорового, красного цвета, а желтовато-бурый, покрытый полузасохшей слизью.

Выпив кипятку, он почувствовал, что может подняться на ноги и даже идти, хотя силы его были почти на исходе. Ему приходилось отдыхать чуть не каждую минуту. Он шел слабыми, неверными шагами, и такими же слабыми, неверными шагами тащился за ним волк.

И в эту ночь, когда блистающее море скрылось

во тьме, человек понял, что приблизился к нему не больше чем на четыре мили.

Ночью он все время слышал кашель больного волка, а иногда крики оленят. Вокруг была жизнь, но жизнь, полная сил и здоровья, а он понимал, что больной волк тащится по следам больного человека в надежде, что этот человек умрет первым. Утром, открыв глаза, он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Зверь, похожий на замороженную унылую собаку, стоял, понурив голову и поджав хвост. Он дрожал на холодном ветру и угрюмо оскалил зубы, когда человек заговорил с ним голосом, упавшим до хриплого шепота.

Взошло яркое солнце, и все утро путник, спотыкаясь и падая, шел к кораблю на блистающем море. Погода стояла прекрасная. Это началось короткое бабье лето северных широт. Оно могло продержаться неделю, могло кончиться завтра или послезавтра.

После полудня он напал на след. Это был след другого человека, который не шел, а тащился на четвереньках. Он подумал, что это, возможно, след Билла, но подумал вяло и равнодушно. Ему было все равно. В сущности, он перестал что-либо чувствовать и волноваться. Он уже не ощущал

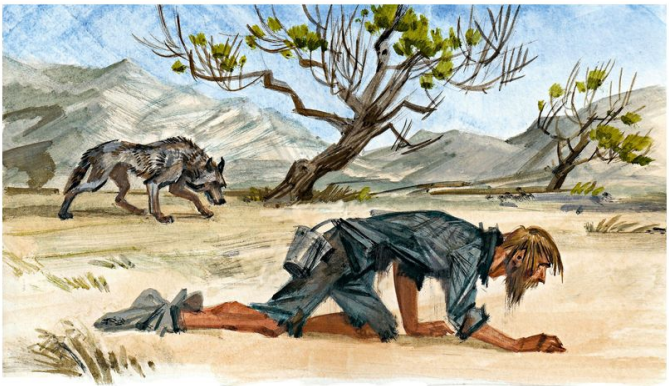
боли. Желудок и нервы словно дремали. Однако жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела гибнуть; и потому, что она не хотела гибнуть, человек все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипяток и следил за больным волком, не спуская с него глаз.

Он шел по следам другого человека, того, который тащился на четвереньках, и скоро увидел конец его пути: обглоданные кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап. Он увидел туго набитый мешочек из оленьей кожи — такой же, какой был у него, — разорванный острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя его ослабевшие пальцы не в силах были удержать такую тяжесть. Билл не бросил его до конца. Ха-ха! Он еще посмеется над Биллом. Он останется жив и возьмет мешочек на корабль, который стоит посреди блистающего моря. Он засмеялся хриплым, страшным смехом, похожим на карканье ворона, и больной волк вторил ему, уныло подвывая. Человек сразу замолчал. Как же он будет смеяться над Биллом, если это Билл, если эти бело-розовые, чистые кости — все, что осталось от Билла?

Он отвернулся. Да, Билл его бросил, но он не возьмет золота и не станет сосать кости Билла. А

Билл стал бы, будь Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше.

Он набрел на маленькое озерко. И, наклонившись над ним в поисках пескарей, отшатнулся, словно ужаленный. Он увидел свое лицо, отраженное в воде. Это отражение было так страшно, что пробудило даже его отупевшую душу. В озерке плавали три пескаря, но оно было велико, и он не мог вычерпать его до дна; он попробовал поймать рыб ведерком, но в конце концов бросил эту мысль. Он побоялся, что от усталости упадет в воду и утонет. По этой же причине он не отважился плыть по реке на бревне, хотя бревен было много на песчаных отмелях.



В этот день он сократил на три мили расстояние между собой и кораблем, а на следующий день — на две мили; теперь он полз на четвереньках, как Билл. К концу пятого дня до корабля все еще оставалось миль семь, а он теперь не мог пройти и мили в день. Бабье лето еще держалось, а он то полз на четвереньках, то падал без чувств, и по его следам все так же тащился больной волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны до

живого мяса и ступни тоже, и, хотя он оторвал две полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный след тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то, он увидел, что волк с жадностью лижет этот кровавый след, и ясно представил себе, каков будет его конец, если он сам не убьет волка. И тогда началась самая жестокая борьба, какая только бывает в жизни: больной человек на четвереньках и больной волк, ковылявший за ним, — оба они, полумертвые, тащились через пустыню, подстерегая друг друга.

Будь то здоровый волк, человек не стал бы так сопротивляться, но ему было неприятно думать, что он попадет в утробу этой мерзкой твари, почти падали. Ему стало противно. У него снова начинался бред, сознание туманили галлюцинации, и светлые промежутки становились все короче и реже.

Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то дыхание над самым ухом. Волк отпрыгнул назад, споткнулся и упал от слабости. Это было смешно, но человек не улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже не имел над ним власти. Но мысли его на минуту прояснились, и он лежал, раздумывая. До корабля оставалось теперь мили четыре, не больше. Он видел его совсем ясно,

протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым парусом, рассекавшую сверкающее море. Но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и относился к этому спокойно. Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него слишком много. Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней.

Он закрыл глаза и бесконечно бережно собрал все свои силы. Он крепился, стараясь не поддаваться чувству дурноты, затопившему, словно прилив, все его существо. Это чувство поднималось волной и мутило сознание. Временами он словно тонул, погружаясь в забытье и силясь выплыть, но каким-то необъяснимым образом остатки воли помогали ему снова выбраться на поверхность.

Он лежал на спине неподвижно и слышал, как хриплое дыхание волка приближается к нему. Оно ощущалось все ближе и ближе, время тянулось без конца, но человек не пошевельнулся ни разу. Вот дыхание слышно над самым ухом. Жесткий сухой язык царапнул его щеку словно наждачной бумагой. Руки у него вскинулись

кверху — по крайней мере он хотел их вскинуть, — пальцы согнулись как когти, но схватили пустоту. Для быстрых и уверенных движений нужна сила, а силы у него не было.

Волк был терпелив, но и человек был терпелив не меньше. Полдня он лежал неподвижно, борясь с забытьем и сторожа волка, который хотел его съесть и которого он съел бы сам, если бы мог. Время от времени волна забытья захлестывала его и он видел долгие сны, но все время, и во сне и наяву, он ждал, что вот-вот услышит хриплое дыхание и его лизнет шершавый язык.

Дыхания он не услышал, но проснулся оттого, что шершавый язык коснулся его руки. Человек ждал. Клыки слегка сдавили его руку, потом давление стало сильнее — волк из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго подстерегал. Но и человек ждал долго, и его искусанная рука сжала волчью челюсть. И в то время как волк слабо отбивался, а рука так же слабо сжимала его челюсть, другая рука протянулась и схватила волка. Еще пять минут, и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не хватало силы, чтобы задушить волка, но человек прижался лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и

человек почувствовал, что в горло ему сочится теплая струйка. Это было мучительно, словно ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только усилием воли он заставлял себя терпеть. Потом человек перекатился на спину и уснул.

На китобойном судне «Бедфорд» ехало несколько человек из научной экспедиции. С палубы они заметили какое-то странное существо на берегу. Оно ползло к морю, едва передвигаясь по песку. Ученые не могли понять, что это такое, и, как подобает естествоиспытателям, сели в шлюпку и поплыли к берегу. Они увидели живое существо, но вряд ли его можно было назвать человеком. Оно ничего не слышало, ничего не понимало и корчилось на песке, словно гигантский червяк. Ему почти не удавалось продвинуться вперед, но оно не отступало и, корчась и извиваясь, продвигалось вперед шагов на двадцать в час.



Через три недели, лежа на койке китобойного судна «Бедфорд», человек со слезами рассказывал, кто он такой и что ему пришлось вынести. Он бормотал что-то бессвязное о своей матери, о Южной Калифорнии, о домике среди цветов и апельсиновых деревьев.

Прошло несколько дней, и он уже сидел за столом вместе с учеными и капитаном в кают-компании корабля. Он радовался изобилию пищи, тревожно провожал взглядом каждый кусок, исчезавший в чужом рту, и его лицо выражало глубокое сожаление. Он был в здравом уме, но чувствовал ненависть ко всем сидевшим за столом. Его мучил страх, что еды не хватит. Он расспрашивал о запасах провизии повара, юнгу, самого капитана. Они без конца успокаивали его, но он никому не верил и тайком заглядывал в кладовую, чтобы убедиться собственными глазами.

Стали замечать, что он поправляется. Он толстел с каждым днем. Ученые качали головой и строили разные теории. Стали ограничивать его в еде, но он все раздавался в ширину, особенно в поясе.

Матросы посмеивались. Они знали, в чем дело. А когда ученые стали следить за ним, им тоже

стало все ясно. После завтрака он прокрадывался на бак и, словно нищий, протягивал руку кому-нибудь из матросов. Тот ухмылялся и подавал ему кусок морского сухаря. Человек жадно хватал кусок, глядел на него, как скряга на золото, и прятал за пазуху. Такие же подачки, ухмыляясь, давали ему и другие матросы.

Ученые промолчали и оставили его в покое. Но они осмотрели потихоньку его койку. Она была набита сухарями. Матрац был полон сухарей. Во всех углах были сухари. Однако человек был в здравом уме. Он только принимал меры на случай голодовки — вот и все. Ученые сказали, что это должно пройти. И это действительно прошло, прежде чем «Бедфорд» стал на якорь в гавани Сан-Франциско.

1905



Под палубным тентом

Перевод И. Гуровой



— Может ли мужчина — я имею в виду джентльмена — назвать женщину свиньей?

Бросив этот вызов всем присутствующим, маленький человечек вытянулся в шезлонге и медленно допил свой лимонад с видом самоуверенным и настороженно-воинственным. Никто

не ответил. Все давно привыкли к маленькому человечку, к его вспыльчивости и к высокопарности его речей.

— Повторяю, я своими ушами слышал, как он сказал, что некая леди, которую никто из вас не знает, — свинья. Он не сказал «поступила по-свински», а грубо заявил, что она свинья. А я утверждаю, что ни один порядочный человек не может так назвать женщину.

Доктор Доусон невозмутимо попыхивал черной трубкой. Мэтьюз, обхватив руками согнутые колени, внимательно следил за полетом чайки. Суит, допив виски, искал глазами палубного стюарда.

— Я спрашиваю вас, мистер Трелор, позволительно ли мужчине назвать женщину свиньей?

Трелор, сидевший рядом с ним, растерялся при этой внезапной атаке; он не понимал, почему именно его заподозрили в том, что он способен назвать женщину свиньей.

— Я бы сказал, — пробормотал он неуверенно, — что это… э… зависит от… того, какая… женщина.

Маленький человечек был ошеломлен.

— Вы хотите сказать, что… — начал он дрожащим голосом.

— …что я встречал женщин, которые были не лучше свиней, а иногда и хуже.

Наступило долгое напряженное молчание. Маленький человечек, видимо, был потрясен откровенной грубостью этого ответа. На его лице отразились неописуемые боль и обида.

— Вы рассказали о человеке, который употребил не совсем деликатное выражение, и высказали свое мнение о нем, — продолжал Трелор спокойным, ровным тоном. — Теперь я расскажу вам об одной женщине — нет, извините, о леди — и, когда кончу, попрошу вас высказать ваше мнение о ней. Назовем ее хотя бы мисс Кэрьюферз — просто потому, что ее звали не так. То, о чем я вам расскажу, случилось на одном из пароходов Восточной компании несколько лет тому назад.

Мисс Кэрьюферз была очаровательна. Нет, вернее будет сказать, изумительна. Это была молодая девушка и знатная леди. Ее отец занимал высокий пост, фамилии его я называть не стану, так как она, несомненно, всем вам знакома. Девушка эта ехала к старику на восток в сопровождении матери и двух горничных.

Она — простите, что я повторяю, — была изумительна! Другого определения не подберешь. Говоря о ней, приходится все прилагательные

употреблять в превосходной степени. Она делала все, за что ни бралась, лучше всякой другой женщины и лучше, чем большинство мужчин. Как она играла, как пела! Соперничать с ней было невозможно — это самое сказал какой-то краснобай о Наполеоне. А как она плавала! Будь она профессиональной спортсменкой, она бы прославилась и разбогатела. Она принадлежала к тем редким женщинам, которые в простом купальном костюме, без всяких финтифлюшек, кажутся еще красивее. Но одевалась она со вкусом настоящей художницы.

Но я говорил о том, как она плавала. Сложена она была идеально — вы понимаете, что я хочу сказать: не грубая мускулатура акробатки, а безупречность линий, изящество, хрупкость. И вместе с тем — сила. Сочеталось это в ней чудесно. У нее были прелестные руки: у плеч — только намек на мускул, нежная округлость локтя до кисти, а кисть крохотная, но сильная. Когда она плыла быстрым английским кролем… Ну, я разбираюсь и в анатомии, и в спорте, но для меня так и осталось тайной, как это у нее получалось.



Она могла оставаться под водой две минуты — я проверял с часами в руках. Никто на пароходе, за исключением Деннитсона, не мог, нырнув, собрать со дна столько монет зараз. На носу был устроен наполнявшийся морской водой парусиновый бассейн в шесть футов глубиной. Мы бросали туда мелкие монеты, и я не раз видел, как она, нырнув с мостика в эту шестифутовую глубину (что само по себе было нелегким делом), собирала до сорока семи монет, разбросанных по всему дну. Деннитсон, хладнокровный и сдержанный молодой англичанин, ни разу не мог ее превзойти и только старался всегда не отставать от нее.

Море казалось ее стихией, но и суша тоже. Она была великолепной наездницей… Она была совершенством! Глядя на нее, такую женственную, окруженную всегда десятком пылких поклонников, томно-небрежную или блистающую остроумием, которым она их покоряла, а иной раз и мучила, вы сказали бы, что только для этого она и создана. В такие минуты мне приходилось напоминать себе о сорока семи монетах, собранных со дна бассейна. Вот какой была эта чудо-женщина, которая все умела делать хорошо. Ни один мужчина не мог остаться к ней равнодушным. Не

скрою, я тоже ходил за ней по пятам. И молодые щенята, и старые седые псы, которым следовало бы уже образумиться, — все ходили перед ней на задних лапах, и стоило ей свистнуть, как все до одного — от юнца Ардмора, розовощекого девятнадцатилетнего херувима, будущего чиновника в консульстве, до капитана Бентли, седовласого морского волка, который, казалось, был способен на нежные чувства не более китайского идола, бросались на ее зов. А один приятный и немолодой уже человек, по фамилии, кажется, Перкинс, вспомнил, что с ним едет жена, только тогда, когда мисс Кэрьюферз поставила его на место.

Мужчины были мягким воском в ее руках, и она лепила из них, что хотела, а иногда предоставляла им таять или сгорать, как им вздумается. Со слугами она вела себя сдержанно и надменно, но любой стюард по ее знаку, не колеблясь, облил бы супом самого капитана. Кто из вас не встречал подобных женщин, пленяющих всех мужчин на свете? Мисс Кэрьюферз была великая завоевательница сердец. Она была, как удар хлыста, как жало, как пламя, как электрическая искра. И поверьте мне, при всей ее обаятельности у нее бывали такие вспышки, что жертва ее гнева трепетала от страха и просто теряла голову.

Притом, чтобы лучше понять то, что я вам расскажу, вам следует помнить, что в ней жила нечеловеческая гордость, соединившая в себе гордость расы, гордость касты, гордость пола, гордость сознания своей власти. Страшная это была гордость, страшная и капризная!

Мисс Кэрьюферз командовала всем и всеми на пароходе и командовала Деннитсоном. Мы признавали, что он намного опередил всю нашу свору. Он нравился девушке все больше и больше, в этом не было сомнения. И я уверен, что она испытывала подобное чувство впервые. А мы продолжали поклоняться ей, были всегда под рукой, хотя и знали, что за Деннитсоном нам не угнаться. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но мы пришли в Коломбо, и кончилось все это иначе.

Вы помните, как в Коломбо туземные ребятишки ныряют за монетами в кишащую акулами бухту? Конечно, они рискуют это проделывать лишь по соседству с береговыми акулами, которые охотятся только за рыбой. У ребят выработалось какое-то сверхъестественное чутье: стоит появиться страшному людоеду — тигровой акуле или серой, которая забредает сюда из австралийских вод, — и, раньше чем пассажиры

поймут, в чем дело, мальчишки все уже выбрались на безопасное место!

Дело было после завтрака. Мисс Кэрьюферз, как обычно, царила под палубным тентом. Она улыбнулась капитану Бентли, и он разрешил то, чего никогда до сих пор не разрешал: пустить туземных ребятишек на верхнюю палубу. Мисс Кэрьюферз заинтересовалась ими, ведь она сама была искусным пловцом. Она забрала у нас всю мелочь и принялась бросать монеты за борт, то по одной, то целыми горстями, диктуя условия состязания, подшучивая над неудачниками, награждая отличившихся, — словом, дирижировала всем представлением.

Ее особенно заинтересовали их прыжки. Как вы знаете, центр тяжести у человека расположен высоко, и при прыжке ногами вниз трудно удержать тело в вертикальном положении и не перевернуться. У мальчишек был свой способ, ей незнакомый, и она заявила, что хочет его изучить. Они прыгали со шлюпбалок, согнувшись, и только в последний момент выпрямлялись и вертикально входили в воду.

Красивое это было зрелище! Ныряли они, однако, хуже. Все, кроме одного. Этот мальчуган нырял превосходно. Вероятно, его обучал какой-

нибудь белый: он нырял «ласточкой» и притом замечательно красиво. Вы знаете, что это такое: прыгаешь вниз головой с большой высоты, и задача в том, чтобы войти в воду под правильным углом. Стоит ошибиться, и рискуешь повредить себе позвоночник, остаться на всю жизнь калекой; нередки и смертные случаи. Но этот мальчик знал свое дело. Я сам видел, как он нырял с вант, с семидесятифутовой высоты. Прижав руки к груди, откинув голову, он взлетал, как птица, а потом падал горизонтально, распростершись в воздухе. Если бы он ударился так о воду, его сплющило бы, как селедку. Но над самой водой голова его опускалась, вытянутые руки сходились над ней, и грациозно изогнутое тело правильно входило в воду.

Мальчик снова и снова повторял свой прыжок, восхищая всех нас, а особенно мисс Кэрьюферз. Ему было не больше тринадцати лет, но он был самым ловким из всей ватаги, любимцем и вожаком своих товарищей. Даже ребята постарше охотно ему подчинялись. Он был красив: гибок и строен, как молодой бог, живая фигурка из бронзы, с широко расставленными умными и смелыми глазами — весь как чудесный, яркий огонек жизни. Бывают и среди животных такие

удивительные творения природы — леопард, лошадь. Кто из вас не любовался игрой их стальных мускулов, неукротимой порывистостью, грацией и кипучей жизнерадостностью каждого движения! В этом мальчике жизнь била ключом, она таилась в блеске его кожи, горела в глазах. Взгляд на него освежал, как глоток кислорода, — такой он был чудесный, юный, стремительный и дикий.



И этот-то мальчик в самый разгар забавы первый подал сигнал тревоги. Товарищи его изо всех сил поплыли за ним к трапу, вода так и кипела от их беспорядочных движений, фонтаны брызг взлетали к небу. Мальчуганы карабкались на пароход, помогая друг другу скорее выбраться из опасного места. Лица у всех были испуганные. Наконец они все выстроились на сходнях, не отводя глаз от поверхности моря.

— Что случилось? — осведомилась мисс Кэрьюферз.

— Акула, наверное, — ответил капитан Бентли. — Пострелятам повезло, что она никого не сцапала.

— Разве они боятся акул? — спросила она.

— А вы? — спросил он, в свою очередь.

Она вздрогнула, бросила взгляд на море и сделала гримаску.

— Ни за что в мире я не вошла бы в воду, когда поблизости акула! — Она снова вздрогнула. — Они отвратительны!

Мальчики поднялись на верхнюю палубу и столпились у поручней, с обожанием глядя на мисс Кэрьюферз, бросившую им столько монет. Представление кончилось, и капитан Бентли знаком приказал им убираться. Но мисс Кэрьюферз

остановила его:

— Погодите минутку, капитан. Я всегда думала, что туземцы не боятся акул.

Она поманила к себе мальчика, нырявшего «ласточкой», и жестом предложила ему прыгнуть еще раз. Он покачал головой, и вся толпа у поручней рассмеялась, как будто услышала веселую шутку.

— Акула, — пояснил он, указывая на воду.

— Нет, — сказала она, — никакой акулы нет!

Но мальчик решительно кивнул, и его товарищи закивали так же решительно.

— Нет тут никаких акул! — воскликнула она и обратилась к нам: — Кто одолжит мне полкроны и соверен?



Немедленно полдюжины рук протянулись к ней с кронами и соверенами. Она взяла две монеты у Ардмора и показала мальчикам полкроны, но ни один не бросился к поручням. Они стояли, растерянно ухмыляясь. Она стала предлагать монету каждому отдельно, но каждый только качал головой и улыбался, переминаясь с ноги на ногу. Тогда она бросила полукрону за борт.

Мальчики провожали сверкавшую в воздухе монету взглядами, полными сожаления, но никто не шевельнулся.

— Только не предлагайте им соверен, — шепнул ей Деннитсон.

Не обращая внимания на его слова, она вертела золотой монетой перед глазами мальчика, который нырял «ласточкой».

— Оставьте! — сказал капитан Бентли. — Я и больную кошку за борт не брошу, если акула близко.

Но мисс Кэрьюферз только рассмеялась, упорствуя в своей затее, и продолжала соблазнять мальчика совереном.

— Не искушайте его, — настаивал Деннитсон. — Это для него целое состояние. Он способен прыгнуть.

— А вы не прыгнули бы? — резко сказала она и добавила мягче: — Если я брошу?

Деннитсон покачал головой.

— Вы дорого себя цените, — заметила она. — Сколько нужно соверенов, чтобы вы прыгнули?

— Столько еще не начеканено, — был ответ.

На мгновение мисс Кэрьюферз задумалась. В стычке с Деннитсоном мальчик был забыт.

— Даже ради меня? — спросила она очень

тихо.

— Только чтобы спасти вас.

Она снова обернулась к мальчику и показала ему золотой, прельщая его таким огромным богатством. Затем притворилась, что бросает, и он невольно шагнул к поручням; только резкие окрики товарищей удержали его. В их голосах звучали злоба и упрек.

— Я знаю, вы только дурачитесь, — сказал Деннитсон. — Дурачьтесь сколько хотите, только ради бога не бросайте!

Был ли это каприз, думала ли она, что мальчик не рискнет прыгнуть в воду, трудно сказать. Для нас всех это явилось полной неожиданностью. Золотая монета вылетела из-под тента, сверкнула в ослепительном солнечном свете и, описав сияющую дугу, упала в море. Никто не успел опомниться, как мальчик был уже за бортом. Он и монета взлетели в воздух одновременно. Красивое было зрелище! Соверен упал в воду ребром, и в ту же секунду в том же месте почти без всплеска нырнул в воду мальчик. Раздался общий крик ребятишек, у которых глаза были зорче наших, и мы бросились к поручням. Ерунда, что акуле для нападения нужно перевернуться на спину. Эта не перевернулась. Сквозь прозрачную воду мы

сверху видели все. Акула была крупная и сразу перекусила мальчика пополам.



Кто-то из нас шепотом сказал что-то — не знаю кто, — может быть, и я. Затем наступило молчание. Первой заговорила мисс Кэрьюферз. Лицо ее было смертельно бледно.

— Я… мне и в голову не приходило… — сказала она с коротким истерическим смешком.

Ей понадобилась вся ее гордость, чтобы сохранить самообладание. Она посмотрела на Деннитсона, словно ища поддержки, потом поочередно на каждого из нас. В ее глазах был ужас, губы дрожали. Да, теперь я думаю, что мы были жестоки тогда, никто из нас не шелохнулся.

— Мистер Деннитсон, — сказала она. — Том! Проводите меня вниз.

Он не повернулся, не взглянул на нее, даже бровью не повел, только достал папиросу и закурил, но в жизни я не видел такого мрачного выражения на лице человека. Капитан Бентли что-то буркнул и сплюнул за борт. И всё. И кругом молчание.

Она отвернулась и пошла по палубе твердой походкой, но, не пройдя и десяти шагов, пошатнувшись, уперлась рукой в стену каюты, чтобы не упасть. Вот так она и шла — медленно, цепляясь за стену.

Трелор умолк и, повернувшись к маленькому

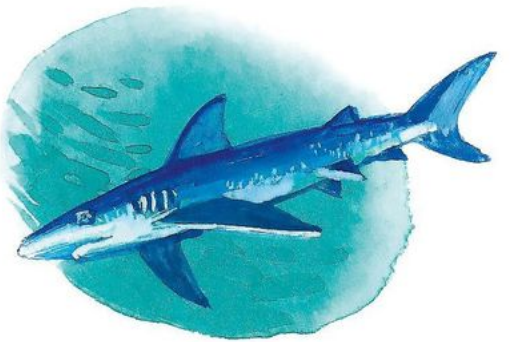
человечку, устремил на него холодный вопросительный взгляд.

— Ну, — спросил он наконец, — что вы скажете о ней?

Человек проглотил слюну.

— Мне нечего сказать, — пробормотал он, — нечего.

1910



Дочь северного сияния

Перевод И. Гуровой



— Вы… как это говорится… лентяй! Вы, лентяй, хотите стать моим мужем? Напрасный старанья. Никогда, о нет, никогда не станет моим мужем лентяй!

Так Джой Молино заявила без обиняков Джеку Харрингтону; ту же мысль, и не далее как нака-

нуне, она высказала Луи Савою, только в более банальной форме и на своем родном языке.

— Послушайте, Джой…

— Нет, нет! Почему должна я слушать лентяй? Это очень плохо — ходить за мной по пятам, торчать у меня в хижина и не делать никаких дел. Где вы возьмете еда для famille[2]? Почему у вас нет зольотой песок? У других польный карман.

— Но я работаю как вол, Джой. День изо дня рыскаю по Юкону и по притокам. Вот и сейчас я только что вернулся. Собаки так и валятся с ног. Другим везет — они находят уйму золота. А я… нет мне удачи.

— Ну да! А когда этот человек — Маккормак, ну тот, что имеет жена-индианка, — когда он открыл Кльондайк, почему вы не пошел? Другие пошел. Другие стал богат.

— Вы же знаете, я был далеко, искал золото у истоков Тананы, — защищался Харрингтон. — И ничего не знал ни об Эльдорадо, ни о Бонанзе. А потом было уже поздно.

— Ну, это пусть. Только вы… как это… сбитый с толк.

— Что такое?

---

[2] Сноски: 2
Семьи (*фр.*).

— Сбитый с толк. Ну, как это… в потемках. Поздно не бывает. Тут, по этот ручей, по Эльдорадо, есть очень богатый россыпь. Какой-то человек застольбил и ушел. Никто не знает, куда он девался. Никогда больше не появлялся он тут. Шестьдесят дней никто не может получить бумага на этот участок. Потом все… целый уйма людей… как это… кинутся застольбить участок. И помчатся, о, быстро, быстро, как ветер, помчатся получать бумага. Один станет очень богат. Один получит много еда для famille.

Харрингтон не подал виду, как сильно заинтересовало его это сообщение.

— А когда истекает срок? — спросил он. — И где этот участок?

— Вчера вечером я говорила об этом с Луи Савой, — продолжала она, словно не слыша его вопроса. — Мне кажется, участок будет его.

— К черту Луи Савоя!

— Вот и Луи Савой сказал вчера у меня в хижина. «Джой, — сказал он, — я сильный. У меня хороший упряжка. У меня хороший дыханье. Я добуду этот участок. Вы тогда будете выходить за меня замуж?» А я сказала ему… я сказала…

— Что же вы сказали?

— Я сказала: «Если Луи Савой победит, я буду

стать его женой».

— А если он не победит?

— Тогда Луи Савой… как это по-вашему… тогда ему не стать отцом моих детей.

— А если я выйду победителем?

— Вы — победитель? — Джой расхохоталась. — Никогда!

Смех Джой Молино был приятен для слуха, даже когда в нем звучала издевка. Харрингтон не придал ему значения. Он был приручен уже давно. Да и не он один. Джой Молино терзала подобным образом всех своих поклонников. К тому же она была так обольстительна сейчас — жгучие поцелуи мороза разрумянили ей щеки, смеющийся рот был полуоткрыт, а глаза сверкали тем великим соблазном, сильней которого нет на свете, — соблазном, таящимся только в глазах женщины. Собаки живой косматой грудой копошились у ее ног, а вожак упряжки — Волчий Клык — осторожно положил свою длинную морду к ней на колени.

— Ну а все же, если я выйду победителем? — настойчиво повторил Харрингтон.

Она посмотрела на своего поклонника, потом снова перевела взгляд на собак:

— Что ты скажешь, Вольчий Клык? Если он

сильный и польючит бумага на участок, может быть, мы согласимся стать его женой? Ну, что ты скажешь?

Волчий Клык навострил уши и глухо заворчал на Харрингтона.

— Хольодно, — с женской непоследовательностью сказала вдруг Джой Молино, встала и подняла свою упряжку.

Ее поклонник невозмутимо наблюдал за ней. Она задавала ему загадки с первого дня их знакомства, и к прочим его достоинствам с той поры прибавилось еще и терпение.

— Эй, Вольчий Клык! — воскликнула Джой Молино, вскочив на нарты в ту секунду, когда они тронулись с места. — Эй-эй! Давай!

Не поворачивая головы, Харрингтон краем глаза следил, как ее собаки свернули на тропу, проложенную по замерзшей реке, и помчались к Сороковой Миле. У развилки, откуда одна дорога уходила через реку к форту Кьюдахи, Джой Молино придержала собак и обернулась.

— Эй, мистер Лентяй! — крикнула она. — Вольчий Клык говорит — да… если вы побеждать!

Все это, как обычно бывает в подобных случаях, каким-то образом получило огласку, и население Сороковой Мили, долго и безуспешно ломавшее

себе голову, на кого из двух последних поклонников Джой Молино падет ее выбор, строило теперь догадки, кто из них окажется победителем в предстоящем состязании, и яростно заключало пари. Лагерь раскололся на две партии, и каждая старалась помочь своему фавориту прийти к финишу первым.

Разгорелась ожесточенная борьба за лучших во всем крае собак, ибо в первую голову от собак, от хороших упряжек, зависел успех. А он сулил немало. Победителю доставалась в жены женщина, равной которой еще не родилось на свет, и в придачу золотой прииск стоимостью по меньшей мере в миллион долларов.

Осенью, когда разнеслась весть об открытиях, сделанных Маккормаком у Бонанзы, все — и в том числе жители Серкла и Сороковой Мили — ринулись вверх по Юкону; все, кроме тех, кто, подобно Джеку Харрингтону и Луи Савою, ушел искать золото на запад. Лосиные пастбища и берега ручьев столбили подряд, без разбору. Так, случайно застолбили и малообещающий с виду ручей Эльдорадо. Олаф Нелсон воткнул на берегу колышки на расстоянии пятисот футов один от другого, без промедления отправил по почте свою заявку и так же без промедления исчез. Ближай-

шая приисковая контора, где регистрировались участки, помещалась тогда в полицейских казармах в форте Кьюдахи — как раз через реку напротив Сороковой Мили. Лишь только пронесся слух, что Эльдорадо — настоящее золотое дно, кому-то сейчас же удалось разнюхать, что Олаф Нелсон не дал себе труда спуститься вниз по Юкону, чтобы закрепить за собой свое приобретение. Уже многие жадно поглядывали на бесхозный участок, где, как всем было известно, на тысячи тысяч долларов золота ждало только лопаты и промывочного лотка. Однако завладеть участком никто не смел. По неписаному закону старателю, застолбившему участок, давалось шестьдесят дней на то, чтобы оформить заявку, и, пока не истечет этот срок, участок считался неприкосновенным. Об исчезновении Олафа Нелсона уже знали все кругом, и десятки золотоискателей готовились вбить заявочные столбы и помчаться на своих упряжках в форт Кьюдахи.

Но Сороковая Миля выставила мало претендентов. После того как весь лагерь направил свои усилия на то, чтобы обеспечить победу либо Джеку Харрингтону, либо Луи Савою, никому даже не пришло на ум попытать счастья в одиночку. От участка до приисковой конторы считалось не

менее ста миль, и на этом пути решено было расставить по три сменных упряжки для каждого из фаворитов. Последний перегон являлся, понятно, решающим, и для этих двадцати пяти миль ретивые добровольцы старались раздобыть самых сильных собак. Такая лютая борьба разгорелась между двумя партиями и в такой они вошли азарт, что цены на собак взлетели неслыханно высоко, как никогда еще не бывало в истории этого края. И немудрено, если эта борьба еще крепче приковывала все взоры к Джой Молино. Ведь она была не только причиной этих треволнений, но и обладательницей самой лучшей упряжной собаки от Чилкута до Берингова моря. Как вожак, или головной, Волчий Клык не знал себе равных. Тот, чью упряжку повел бы он на последнем перегоне, мог считать себя победителем. На этот счет ни у кого не было сомнений. Но в Сороковой Миле чутьем понимали, что можно и чего нельзя, и никто не потревожил Джой Молино просьбой одолжить собаку. Каждая сторона утешала себя тем, что не только фавориту, но и противнику не придется воспользоваться таким преимуществом.

Однако мужчины — каждый в отдельности и все вкупе — устроены так, что часто доходят до могилы, оставаясь в блаженном неведении

всей глубины коварства, присущего другой половине рода человеческого, и по этой причине мужское население Сороковой Мили оказалось неспособным разгадать дьявольские замыслы Джой Молино. Все признавались впоследствии, что недооценили эту черноокую дочь северного сияния, чей отец промышлял мехами в здешних краях еще в ту пору, когда им и не снилось, что они тоже нагрянут сюда, и чьи глаза впервые взглянули на мир при холодном мерцании полярных огней. Впрочем, обстоятельства, при которых появилась на свет Джой Молино, не помешали ей быть женщиной до мозга костей и не ограничили ее способности понимать мужскую натуру. Мужчины знали, что она ведет с ними игру, но им и в голову не приходило, как глубоко продумана эта игра, как она искусна и хитроумна. Они принимали в расчет лишь те карты, которые Джой пожелала им открыть, и до последней минуты пребывали в состоянии приятного ослепления, а когда она пошла со своего главного козыря, им оставалось только подсчитать проигрыш.

В начале недели весь лагерь провожал Джека Харрингтона и Луи Савоя в путь. Соперники выехали с запасом в несколько дней — им хотелось прибыть на участок Олафа Нелсона загодя, чтобы

немного отдохнуть и дать собакам восстановить силы перед началом гонок. По дороге они видели золотоискателей из Доусона, уже расставлявших сменные упряжки на пути, и получили возможность убедиться, что никто не поскупился на расходы в погоне за миллионом.

Дня через два после их отъезда Сороковая Миля начала отправлять подставы — сначала на семьдесят пятую милю пути, потом на пятидесятую и, наконец, — на двадцать пятую. Упряжки, предназначавшиеся для последнего перегона, были великолепны — все собаки как на подбор, и лагерь битый час, при пятидесятиградусном морозе, обсуждал и сравнивал их достоинства, пока наконец они не получили возможность тронуться в путь. Но тут, в последнюю минуту, к ним подлетела Джой Молино на своих нартах. Она отозвала в сторону Лона Макфэйна, правившего харрингтоновской упряжкой, и не успели первые слова слететь с ее губ, как он разинул рот с таким остолбенелым видом, что важность полученного им сообщения стала очевидна для всех. Он выпряг Волчьего Клыка из ее нарт, поставил во главе харрингтоновской упряжки и погнал собак вверх по Юкону.

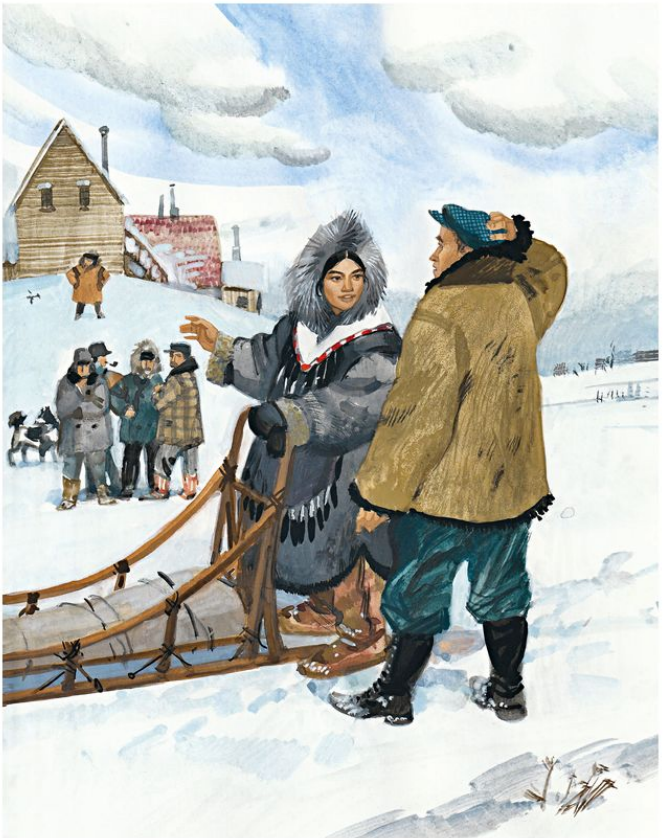
— Бедняга Луи Савой! — заговорили кругом.

Но Джой Молино вызывающе сверкнула черными глазами и повернула нарты назад к отцовской хижине.

Приближалась полночь. Несколько сот закутанных в меха людей, собравшихся на участке Олафа Нелсона, предпочли шестидесятиградусный мороз и все треволнения этой ночи соблазну натопленных хижин и удобных коек. Некоторые из них держали свои колышки наготове и своих собак под рукой.

Отряд конной полиции капитана Констэнтайна получил приказ быть на посту, дабы все шло по правилам. Поступило распоряжение: никому не ставить столбы, пока последняя секунда этого дня не канет в вечность. На Севере такой приказ равносилен повелению Иеговы — ведь пуля «думдум» карает так же мгновенно и безвозвратно, как десница Божья. Ночь была ясная и морозная. Северное сияние зажгло свои праздничные огни, расцветив небосклон гигантскими зеленовато-белыми мерцающими лучами, затмевавшими свет звезд. Волны холодного розового блеска омывали зенит, а на горизонте рука титана воздвигла сверкающие арки. И, потрясенные этим величественным зрелищем, собаки поднимали протяжный вой, как их далекие предки в незапа-

мятные времена.



Полисмен в медвежьей шубе торжественно шагнул вперед с часами в руке. Люди засуетились у своих упряжек, поднимая собак, распутывая и подтягивая постромки. Затем соревнующиеся подошли к меже, сжимая в кулаке колышки и заявки. Они уже столько раз переступали границы участка, что могли бы теперь сделать это с закрытыми глазами. Полисмен поднял руку. Скинув с плеч лишние меха и одеяла, в последний раз подтянув пояса, люди замерли в ожидании.

— Приготовиться!

Шестьдесят пар рукавиц сдернуто с рук; столько же пар обутых в мокасины ног покрепче уперлось в снег.

— Пошли!

Все ринулись с разных сторон на широкое пустое пространство участка, вбивая колышки по углам и посредине, где надлежало поставить две центральные заявки, потом опрометью бросились к своим нартам, поджидавшим их на замершей глади ручья. Все смешалось — движения, звуки; все слилось в единый хаос. Нарты сталкивались; ощетинившись, оскалив клыки, упряжка с визгом налетала на упряжку. Образовавшаяся свалка создала затор в узком русле ручья. Удары кнутов сыпались на спины жи-

вотных и людей без разбора. И в довершение неразберихи вокруг каждого гонщика суетилась кучка приятелей, старавшихся вызволить их из свалки. Но вот, силой проложив себе путь, одни нарты за другими стали вырываться на простор и исчезать во мраке между угрюмо нависших берегов.

Джек Харрингтон предвидел заранее, что давки не миновать, и ждал у своих нарт, пока не уляжется суматоха. Луи Савой, зная, что его соперник даст ему сто очков вперед по части езды на собаках, ждал тоже, решив следовать его примеру. Крики уже затихли вдали, когда они пустились в путь и, пройдя миль десять вниз до Бонанзы, нагнали остальные упряжки, которые шли гуськом, но не растягиваясь. Возгласов почти не было слышно, так как на этом отрезке пути нечего было и думать вырваться вперед: ширина нарт — от полоза до полоза — равнялась шестнадцати дюймам, а ширина проторенной дороги — восемнадцати. Этот санный путь, укатанный вглубь на добрый фут, был подобен желобу. По обеим сторонам его расстилался пушистый, сверкающий снежный покров. Стоило кому-нибудь, пытаясь обогнать другие нарты, сойти с пути, и его собаки неминуемо провалились бы по брюхо в рыхлый

снег и поплелись бы со скоростью улитки. И люди замерли в своих подскакивавших на выбоинах нартах и выжидали. На протяжении пятнадцати миль вниз по Бонанзе и Клондайку до Доусона, где они вышли к Юкону, никаких изменений не произошло. Здесь их уже ждали сменные упряжки. Но Харрингтон и Савой расположили свои подставы двумя-тремя милями дальше, решив, если потребуется, загнать первую упряжку насмерть.



Воспользовавшись сутолокой, воцарившейся при смене упряжек, они оставили позади добрую половину гонщиков. Когда нарты вынесли их на широкую грудь Юкона, впереди шло не более тридцати упряжек. Здесь можно было померить-ся силами. Осенью, когда река стала, между двумя мощными пластами льда осталась быстрина шириной в милю. Она совсем недавно оделась льдом, и он был твердым, гладким и скользким, как паркет бального зала. Лишь только полозья нарт коснулись этого сверкающего льда, Харрингтон привстал на колени, придерживаясь одной рукой за нарты, и бич его яростно засвистел над головами собак, а неистовая брань загремела у них в ушах. Упряжки растянулись по ледяной глади, и каждая напрягала силы до предела. Но мало кто на всем Севере умел так высылать собак, как Джек Харрингтон. Его упряжка сразу начала вырываться вперед, но Луи Савой прилагал отчаянные усилия, чтобы не отстать, и его головные собаки бежали, едва не касаясь мордами нарт соперника.

Где-то на середине ледяного пути вторые подставы вынеслись с берега им навстречу. Но Харрингтон не замедлил бега своих собак. Выждав минуту, когда новая упряжка поравнялась

с ним, он, гикнув, перескочил на другие нарты, с ходу наддав жару собакам. Гонщик подставы кубарем полетел с нарт.

Луи Савой и тут во всем последовал примеру своего соперника. Брошенные на произвол судьбы упряжки заметались из стороны в сторону, на них налетели другие, и на льду поднялась страшная кутерьма. Харрингтон набирал скорость. Луи Савой не отставал. У самого конца ледяного поля их нарты начали обходить головную упряжку. Когда они снова легли на узкий санный путь, проторенный в пушистых снежных сугробах, они уже вели гонку, и Доусон, наблюдавший за ними при свете северного сияния, клялся, что это была чистая работа.

Когда мороз крепчает до шестидесяти градусов, надо или двигаться, или разводить огонь, иначе долго не протянешь. Харрингтон и Савой прибегли теперь к старинному способу — «бегом и на собаках». Соскочив с нарт, они бежали сзади, держась за лямки, пока кровь, сильнее забурлив в жилах, не изгоняла из тела мороз, потом прыгали обратно в нарты и лежали на них, пока опять не промерзали до костей. Так — бегом и на собаках — они покрыли второй и третий перегоны. Снова и снова, вылетев на гладкий

лед, Луи Савой принимался нахлестывать собак, и всякий раз его попытки обойти соперника оканчивались неудачей. Растянувшись позади на пять миль, остальные участники состязания силились их нагнать, но безуспешно, ибо одному Луи Савою выпала в этих гонках честь выдержать убийственную скорость, предложенную Джеком Харрингтоном.

Когда они приблизились к подставе на семьдесят пятой миле, Лон Макфэйн пустил своих собак. Их вел Волчий Клык, и, как только Харрингтон увидел вожака, ему стало ясно, кому достанется победа. На всем Севере не было такой упряжки, которая могла бы теперь побить его на этом последнем перегоне. А Луи Савой, заметив Волчьего Клыка во главе харрингтоновской упряжки, понял, что проиграл, и послал кому-то сквозь зубы проклятия, какие обычно посылают женщинам. Но все же он решил биться до последнего, и его собаки неотступно бежали в вихре снежной пыли, летевшей из-под передних нарт. На юго-востоке занялась заря; Харрингтон и Савой неслись вперед: один преисполненный радостного, другой горестного изумления перед поступком Джой Молино.

Вся Сороковая Миля вылезла на рассвете из-под

своих меховых одеял и столпилась у края санного пути. Он далеко был виден отсюда — на несколько миль вверх по Юкону, до первой излучины. И путь через реку к финишу у форта Кьюдахи, где ждал охваченный нетерпением приисковый инспектор, тоже был весь как на ладони. Джой Молино устроилась несколько поодаль, но ввиду столь исключительных обстоятельств никто не позволил себе торчать у нее перед глазами и загораживать ей чуть приметно темневшую на снегу полоску тропы. Таким образом, перед нею оставалось свободное пространство. Горели костры, и золотоискатели, собравшись у огня, держали пари, закладывая собак и золотой песок. Шансы Волчьего Клыка стояли необычайно высоко.

— Идут! — раздался с верхушки сосны пронзительный крик мальчишки-индейца.

У излучины Юкона на снегу появилась черная точка, и сейчас же следом за ней — вторая. Точки быстро росли, а за ними начали возникать другие — на некотором расстоянии от первых двух. Мало-помалу все они приняли очертания нарт, собак и людей, плашмя лежавших на нартах.

— Впереди Волчий Клык! — шепнул лейтенант полиции Джой Молино.

Она ответила ему улыбкой, не тая своего ин-

тереса.

— Десять против одного за Харрингтона! — воскликнул какой-то король Березовой реки, вытаскивая свой мешочек с золотом.

— Королева… она не очень щедро платит вам? — спросила Джой Молино лейтенанта.

Тот покачал головой.

— Есть у вас зольтой песок? Как много? — не унималась Джой.

Лейтенант развязал свой мешочек. Одним взглядом она оценила его содержимое.

— Пожалуй, тут… да, сотни две тут будет, верно? Хорошо, сейчас я дам вам… как это… подсказка. Принимайте пари. — Она загадочно улыбнулась.

Лейтенант колебался. Он взглянул на реку. Оба передних гонщика, стоя на коленях, яростно нахлестывали собак, Харрингтон шел первым.

— Десять против одного за Харрингтона! — орал король Березовой реки, размахивая своим мешочком перед носом лейтенанта.

— Принимайте пари! — подзадорила лейтенанта Джой.

Он повиновался, пожав плечами в знак того, что уступает не голосу рассудка, а ее чарам. Джой ободряюще кивнула.

Шум стих. Ставки прекратились.

Накреняясь, подскакивая, ныряя, словно утлые парусники в бурю, нарты бешено мчались к ним. Луи Савой все еще не отставал от Харрингтона, но лицо его было мрачно: надежда покинула его. Харрингтон не смотрел ни вправо, ни влево. Рот его был плотно сжат. Его собаки бежали ровно, ни на секунду не сбиваясь с ритма, ни на йоту не отклоняясь от пути, а Волчий Клык был поистине великолепен. Низко опустив голову, ничего не видя вокруг и глухо подвывая, вел он своих товарищей вперед.

Сороковая Миля затаила дыхание. Слышен был только хрип собак да свист кнутов.

Внезапно звонкий голос Джой Молино нарушил тишину:

— Эй-эй! Вольчий Клык! Вольчий Клык!

Волчий Клык услыхал. Он резко свернул в сторону — прямо к своей хозяйке. Вся упряжка ринулась за ним, нарты накренились и, став на один полоз, выбросили Харрингтона в снег. Луи Савой вихрем пролетел мимо.

Харрингтон поднялся на ноги и увидел, что его соперник мчится через реку к приисковой конторе. В эту минуту он невольно услышал разговор у себя за спиной.

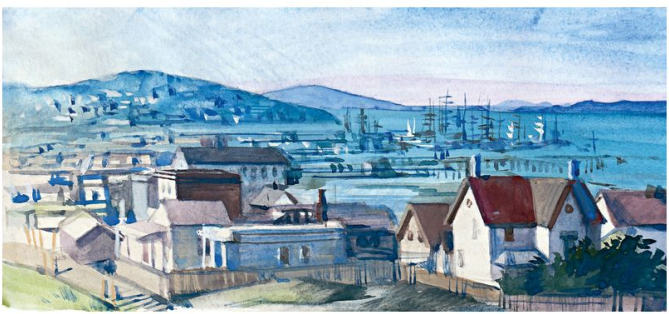
— Он? Да, он очень хорошо шел, — говорила Джой Молино лейтенанту. — Он… как это говорится… задал темп. О да, он отлично задал темп.

1899



Тысяча дюжин

Перевод И. Гуровой



Дэвид Расмунсен отличался предприимчивостью и, как многие, даже менее заурядные люди, был одержим одной идеей. Вот почему, когда трубный глас Севера коснулся его ушей, он решил спекулировать яйцами и все свои силы посвятил этому предприятию. Он произвел краткий и

точный подсчет, и будущее заискрилось и засверкало перед ним всеми цветами радуги. В качестве рабочей гипотезы можно было допустить, что яйца в Доусоне будут стоить не дешевле пяти долларов за дюжину. Отсюда следовало, что на одной тысяче дюжин в Столице Золота можно будет заработать пять тысяч долларов.

С другой стороны, следовало учесть расходы, и он их учел, как человек осторожный, весьма практичный и трезвый, не способный увлекаться и действовать очертя голову. При цене пятнадцать центов за дюжину тысяча дюжин яиц обойдется в сто пятьдесят долларов — сущие пустяки по сравнению с громадной прибылью. А если предположить — только предположить — такую баснословную дороговизну, что на дорогу и провоз яиц уйдет восемьсот пятьдесят долларов, все же, после того как он продаст последнее яйцо и ссыплет в мешок последнюю щепотку золотого песка, на руках у него останется чистых четыре тысячи.

— Понимаешь, Альма, — высчитывал он вслух, сидя с женой в уютной столовой, заваленной картами, правительственными отчетами и путеводителями по Аляске, — понимаешь ли, расходы по-настоящему начинаются только с Дайи, а на

дорогу до Дайи за глаза хватит пятидесяти долларов, даже если ехать первым классом. Ну-с, от Дайи до озера Линдерман индейцы-носильщики берут по двенадцать центов с фунта, то есть двенадцать долларов с сотни фунтов, а с тысячи — сто двадцать долларов. У меня будет, скажем, полторы тысячи фунтов, это обойдется в сто восемьдесят долларов; прикинем что-нибудь для верности — ну, хотя бы в двести. Один приезжий с Клондайка заверял меня честным словом, что лодку на Линдермане можно купить за триста долларов. Он же говорил, что нетрудно подыскать двух пассажиров по сто пятьдесят долларов с головы, — значит, лодка обойдется даром, а кроме того, они будут помогать в пути. Ну… вот и все. В Доусоне я выгружаю яйца прямо на берег. Ну-ка, сколько же это всего получается?

— Пятьдесят долларов от Сан-Франциско до Дайи, двести от Дайи до Линдермана, за лодку платят пассажиры, — значит, всего двести пятьдесят, — быстро подсчитала жена.

— Да еще сто на одежду и снаряжение, — радостно подхватил муж, — значит, пятьсот остается про запас на экстренные расходы. А какие же там могут быть экстренные расходы?

Альма пожала плечами и подняла брови. Если

просторы Севера могут поглотить человека и тысячу дюжин яиц, они смогут поглотить и все его достояние. Так она подумала, но не сказала ничего. Она слишком хорошо знала Дэвида Расмунсена и потому предпочла промолчать.

— Если даже положить вдвое больше времени — на случайные задержки, — то на всю поездку уйдет два месяца. Подумай только, Альма! Четыре тысячи в два месяца! Не чета какой-то несчастной сотне в месяц, что я теперь получаю. Мы отстроимся заново, попросторнее, с газом во всех комнатах, с видом на море; а коттедж я сдам и из этих денег буду платить налоги, страховку и за воду, да и на руках кое-что останется. А может, еще нападу на жилу и вернусь миллионером. Скажи-ка, Альма, как по-твоему, ведь подсчет самый умеренный?

И Альма могла по совести ответить, что да. А кроме того, разве не привез один ее родственник — правда, очень дальний, паршивая овца в семействе и лодырь каких мало, — разве не привез он с таинственного Севера на сто тысяч золотого песка, не говоря уж о половинном пае на ту яму, из которой его добывали?

Соседний бакалейщик очень удивился, когда Дэвид Расмунсен, его постоянный покупатель,

стал взвешивать яйца на весах в конце прилавка. Но еще больше удивился сам Расмунсен, обнаружив, что дюжина яиц весит полтора фунта, — значит, тысяча дюжин будет весить полторы тысячи фунтов! На одежду, одеяла и посуду не остается ровно ничего, не говоря уж о провизии, которая понадобится на дорогу. Все его расчеты рухнули, и он уже собирался высчитывать все сначала, как вдруг ему пришло в голову взвесить яйца помельче.

«Крупные они или мелкие, а дюжина есть дюжина», — весьма здраво заметил он про себя и, прикинув на весах дюжину мелких яиц, нашел, что они весят фунт с четвертью.

Вскоре по городу Сан-Франциско забегали озабоченные посыльные, и комиссионные конторы были удивлены неожиданным спросом на яйца весом не более двадцати унций дюжина.

Расмунсен заложил свой маленький коттедж за тысячу долларов, отправил жену гостить к ее родным, бросил работу и уехал на Север. Чтобы не выходить из сметы, он решился на компромисс и взял билет во втором классе, где из-за наплыва пассажиров было хуже, чем на палубе, и поздним летом, бледный и ослабевший, высадился со своим грузом в Дайе. Однако твердость

походки и аппетит вернулись к нему в самом скором времени. Первый же разговор с индейцами-носильщиками укрепил его физически и закалил морально. Они запросили по сорок центов с фунта за переход в двадцать восемь миль, и не успел Расмунсен перевести дух от изумления, как цена дошла до сорока трех. Наконец пятнадцать дюжих индейцев, сговорившись по сорок пять центов, стянули ремнями его тюки, но тут же снова развязали их, потому что какой-то крёз из Скагуэя в грязной рубахе и рваных штанах, который загнал своих лошадей на перевале Уайт и теперь делал последнюю попытку добраться до Доусона через Чилкут, предложил им по сорок семь.

Но Расмунсен проявил выдержку и за пятьдесят центов нашел носильщиков, которые двумя днями позже доставили его товар в целости и сохранности к озеру Линдерман. Однако пятьдесят центов за фунт — это тысяча долларов за тонну, и после того, как полторы тысячи фунтов съели весь его запасный фонд, он долго сидел на мысе Тантала, день за днем глядя, как свежевыструганные лодки одна за другой отправляются в Доусон. Надо сказать, что весь лагерь, где строились лодки, был охвачен тревогой. Люди

работали как бешеные, с утра до ночи, напрягая все силы, — конопатили, смолили, сколачивали в лихорадочной спешке, которая объяснялась очень просто. С каждым днем снеговая линия спускалась все ниже и ниже с оголенных вершин, ветер налетал порывами, неся с собой то изморозь, то мокрый, то сухой снег, а в тихих заводях и у берегов нарастал молодой лед и с каждым часом становился все толще. Каждое утро измученные работой люди смотрели на озеро, не начался ли ледостав. Ибо ледостав означал бы, что надеяться больше не на что, — а они надеялись, что, когда на озерах закроется навигация, они уже будут плыть вниз по быстрой реке.

Душа Расмунсена терзалась тем сильнее, что он обнаружил трех конкурентов по яичной части. Правда, один из них, коротенький немец, уже разорился вчистую и, ни на что больше не рассчитывая, сам перетаскивал обратно последние тюки товара; зато у двух других лодки были почти готовы, и они ежедневно молили бога торговли и коммерции задержать еще хоть на день железную руку зимы. Но эта железная рука уже сдавила страну. Снежная пурга заносила Чилкут, люди замерзали насмерть, и Расмунсен не заметил, как отморозил себе пальцы на ногах.

Подвернулся было случай устроиться пассажиром в лодке, которая, шурша галькой, как раз отчаливала от берега, но надо было дать двести долларов наличными, а денег у него не осталось.

— Я так думаль, вы погодить немножко, — говорил ему лодочник-швед, который именно здесь нашел свой Клондайк и оказался достаточно умен, чтобы понять это, — совсем немножко погодить, и я вам сделай очень хороший лодка, верный слово.

Положившись на это слово, Расмунсен вернулся к озеру Кратер и там повстречал двух газетных корреспондентов, багаж которых был раскидан по всему перевалу, от Каменного Дома до Счастливого лагеря.

— Да, — сказал он значительно. — У меня тысяча дюжин яиц уже доставлена к озеру Линдерман, а сейчас там заканчивают конопатить для меня лодку. И я считаю, что мне повезло. Сами знаете, лодки нынче нарасхват, их ни за какие деньги не достанешь.

Корреспонденты с криком и чуть ли не с дракой стали навязываться Расмунсену в попутчики, махали у него перед носом долларовыми бумажками и совали в руки золотые. Он не желал ничего слушать, однако в конце концов поддался

на уговоры и нехотя согласился взять корреспондентов с собой за триста долларов с каждого. Деньги они ему заплатили вперед. И покуда оба строчили в свои газеты сообщения о добром самаритянине, везущем тысячу дюжин яиц, этот добрый самаритянин уже торопился к шведу на озеро Линдерман.

— Эй, вы! Давайте-ка сюда эту лодку, — приветствовал он шведа, позвякивая корреспондентскими золотыми и жадно оглядывая готовое суденышко.

Швед флегматично смотрел на него, качая головой.

— Сколько вам за нее должны уплатить? Триста? Ладно, вот вам четыреста. Берите.

Он совал деньги шведу, но тот только пятился от него.

— Я думаль, нет. Я говориль ему, лодка готовый, можно брать. Вы погодить немножко…

— Вот вам шестьсот. Хотите берите, хотите нет. Последний раз предлагаю. Скажите там, что вышла ошибка.

Швед заколебался и наконец сказал:

— Я думаль, да.

И после этого Расмунсен видел его только один раз — когда он, отчаянно коверкая язык, пытался

объяснить другим заказчикам, какая вышла ошибка.

Немец сломал ногу, поскользнувшись на крутом горном склоне у Глубокого озера, и, распродав свой товар по доллару за дюжину, на вырученные деньги нанял индейцев-носильщиков нести его обратно в Дайю. Но другие два конкурента отправились следом за Расмунсеном в то же утро, когда он со своими попутчиками отчалил от берега.

— У вас сколько? — крикнул ему один из них, худенький и маленький янки из Новой Англии.

— Тысяча дюжин, — с гордостью ответил Расмунсен.

— Ого! А у меня восемь сотен. Давайте спорить, что я обгоню вас!

Корреспонденты предлагали Расмунсену денег взаймы, но он отказался, и тогда янки заключили пари с последним из конкурентов, могучим сыном волны, море и сушу видавшим, который обещал показать им настоящую работу, когда понадобится. И показал, поставив большой брезентовый парус, отчего носовая часть лодки то и дело зарывалась в воду при каждом порыве ветра. Он первым вышел из озера Линдерман, но не пожелал идти волоком и посадил перегруженную лодку на камни среди клокотавших порогов.

Расмунсен и янки, у которого тоже было двое пассажиров, перетащили груз на плечах, а потом перевели лодки порожняком через опасное место в озеро Беннет.

Беннет — это озеро в двадцать пять миль длиной, узкая и глубокая воронка в горах, игралище бурь. Расмунсен переночевал на песчаной косе в верховьях озера, где было много других людей и лодок, направлявшихся к северу наперекор арктической зиме. Поутру он услышал свист южного ветра, который, набравшись холода среди снежных вершин и оледенелых ущелий, был здесь ничуть не теплее северного. Однако погода выдалась ясная, и янки уже огибал крутой мыс на всех парусах. Лодка за лодкой отплывали от берега, и корреспонденты с воодушевлением взялись за дело.

— Мы его догоним у Оленьего Перевала, — уверяли они Расмунсена, когда паруса были поставлены и «Альму» в первый раз обдало ледяными брызгами.

Расмунсен всю свою жизнь побаивался воды, но тут он вцепился в рулевое весло, стиснул зубы и словно окаменел. Его тысяча дюжин была здесь же, в лодке, он видел ее перед собой, прикрытую багажом корреспондентов, и в то же время

неизвестно каким образом он видел перед собой и маленький коттедж, и закладную на тысячу долларов.

Холод был жестокий. Время от времени Расмунсен вытаскивал рулевое весло и вставлял другое, а пассажиры сбивали с весла лед. Водяные брызги замерзали на лету, и косая нижняя рея быстро обросла бахромой сосулек. «Альма» билась среди высоких волн и трещала по всем швам, но, вместо того чтобы вычерпывать воду, корреспондентам приходилось рубить лед и бросать его за борт. Отступать было уже нельзя. Началось отчаянное состязание с зимой, и лодки одна за другой бешено мчались вперед.

— М-мы не с-сможем остановиться даже ради спасения души! — крикнул один из корреспондентов, стуча зубами, но не от страха, а от холода.

— Правильно! Держи ближе к середине, старик! — подтвердил другой.

Расмунсен ответил бессмысленной улыбкой. Скованные морозом берега были словно в мыльной пене, и, чтобы уйти от крупных валов, только и оставалось держаться ближе к середине озера — больше не на что было надеяться. Спустить парус значило дать волне нагнать и захлестнуть

лодку. Время от времени они обгоняли другие суденышки, бившиеся среди камней, а одна лодка у них на глазах налетела на пороги. Маленькая шлюпка позади, в которой сидело двое, перевернулась кверху дном.

— Г-гляди в оба, старик! — крикнул тот, что стучал зубами.

Расмунсен ответил улыбкой и еще крепче ухватился за руль коченевшими руками. Двадцать раз волна догоняла квадратную корму «Альмы» и выносила ее из-под ветра, так что парус начинал полоскаться, и каждый раз, напрягая все свои силы, Расмунсен снова выравнивал лодку. Улыбка теперь словно примерзла к его лицу, и встревоженные корреспонденты смотрели на него со страхом.

Они пролетели мимо одинокой скалы, торчавшей в ста ярдах от берега. С вершины, заливаемой волнами, кто-то окликнул их диким голосом, на мгновение пересилив шум бури. Но в следующий миг «Альма» уже пронеслась дальше, и скала осталась позади, чернея среди волновавшейся пены.

— С янки покончено! А где же моряк? — крикнул один из пассажиров.

Расмунсен посмотрел через плечо и поискал

глазами черный парус. С час назад этот парус вынырнул из серой мглы с наветренной стороны, и теперь Расмунсен то и дело оглядывался и видел, что парус все близится и растет. Моряк, должно быть, успел заделать пробоины и теперь наверстывал потерянное время.

— Смотрите, нагоняет!

Оба пассажира перестали скалывать лед и тоже следили за черным парусом. Двадцать миль озера Беннет остались позади — было где разгуляться буре, подбрасывая водяные горы к небесам. То низвергаясь в бездну, то взлетая ввысь, словно дух бури, моряк промчался мимо. Огромный парус, казалось, подхватывал лодку с гребней волн, отрывал ее от воды и с грохотом швырял в зияющие провалы между волнами.

— Волне его не догнать.

— Сейчас з-зароется н-носом в воду!

В ту же минуту черный брезент накрыло высоким гребнем. Вторая и третья волны прокатились над этим местом, но лодка больше не появлялась. «Альма» промчалась мимо. Всплыли обломки весел, доски от ящиков. Высунулась рука из воды, косматая голова мелькнула на поверхности, ярдах в двадцати от «Альмы».

На время все умолкли. Как только показался

другой берег озера, волны стали захлестывать лодку с такой силой, что корреспонденты уже не скалывали лед, а энергично вычерпывали воду. Но даже и это не помогало, и, посоветовавшись с Расмунсеном, они принялись за багаж. Мука, бекон, бобы, одеяла, керосинка, веревка — все, что только попадалось под руку, полетело за борт. Лодка сразу отозвалась на это — она черпала меньше воды и легче шла вперед.

— Ну и хватит! — сурово прикрикнул Расмунсен, как только они добрались до верхнего ящика с яйцами.

— Как бы не так! К черту! — огрызнулся тот, что стучал зубами. Оба они пожертвовали всем своим багажом, кроме записных книжек, фотоаппарата и пластинок. Корреспондент нагнулся, ухватился за ящик с яйцами и начал вытаскивать его из-под веревок.

— Брось! Брось, тебе говорят!

Расмунсен умудрился как-то выхватить револьвер и целился, локтем придерживая руль. Корреспондент вскочил на банку; он стоял пошатываясь, и его лицо исказила злобная и угрожающая гримаса.

— Боже мой!

Это крикнул второй корреспондент, бросив-

шись ничком на дно лодки. «Альму», о которой Расмунсен почти забыл в эту минуту, подхватил и завертел водоворот. Парус заполоскался, рея со страшной силой рванулась вперед и столкнула первого корреспондента за борт, переломив ему позвоночник. Мачта с парусом тоже рухнула за борт. Волна хлынула в лодку, потерявшую направление, и Расмунсен бросился вычерпывать воду.

В следующие полчаса мимо них пролетели несколько лодок, и маленьких, и таких, как «Альма», но все они, гонимые страхом, могли только мчаться вперед. Наконец десятитонный барк, рискуя погибнуть сам, спустил паруса с наветренной стороны и, тяжело повернувшись, подошел к «Альме».

— Назад! Назад! — завопил Расмунсен.

Но низкий планшир его лодки уже терся со скрежетом о грузный барк, и оставшийся в живых корреспондент карабкался на высокий борт. Расмунсен, словно кошка, сидел над своей тысячей дюжин на носу «Альмы», онемевшими пальцами стараясь связать два конца.

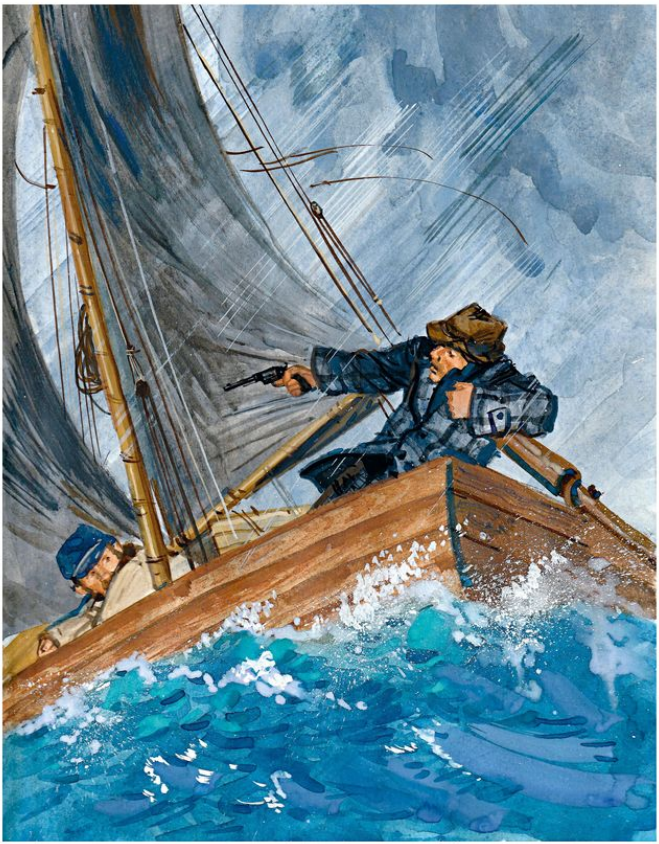
— Полезай! — закричал ему с барка человек с рыжими бакенами.

— У меня здесь тысяча дюжин яиц, — крик-

нул он в ответ. — Возьмите меня на буксир! Я заплачу!

— Полезай! — закричали ему хором.

Высокая волна с белым гребнем встала над самым барком и, перехлестнув через него, наполовину затопила «Альму». Люди махнули рукой и, выругав Расмунсена как следует, подняли парус. Расмунсен тоже выругался в ответ и опять принялся вычерпывать воду. Мачта с парусом еще держалась на фалах и действовала как якорь, помогая лодке сопротивляться волнам и ветру.



Тремя часами позже, весь закоченев, выбившись из сил и бормоча как помешанный, но не переставв ычерпывать воду, Расмунсен пристал к скованному льдом берегу близ Оленьего Перевала. Правительственный курьер и метис-проводник вдвоем вывели его из полосы прибоя, спасли весь его груз и вытащили «Альму» на берег. Эти люди ехали из Доусона в рыбачьей лодке, но задержались в пути из-за бури. Они приютили Расмунсена на ночь в своей палатке. Наутро путники двинулись дальше, но Расмунсен предпочел задержаться со своей тысячей дюжин яиц. И после этого по всей стране пошла молва о человеке, который везет тысячу дюжин яиц. Золотоискатели, добравшиеся до места накануне ледостава, принесли с собой слух о том, что он в пути. Поседевшим старожилам из Сороковой Мили и из Серкла, ветеранам с железными челюстями и заскорузлыми от бобов желудками, при одном звуке его имени смутно, как сквозь сон, вспоминались цыплята и свежая зелень. Дайя и Скагуэй живо интересовались им и расспрашивали о нем каждого путника, одолевшего перевалы, а Доусон — золотой Доусон, стосковавшийся по яичнице, — волновался и тревожился и жадно ловил каждый слух об этом человеке.

Ничего этого Расмунсен не знал. На другой день после крушения он починил «Альму» и двинулся дальше. Резкий восточный ветер с озера Тагиш дул ему в лицо, но он взялся за весла и мужественно греб, хотя лодку то и дело относило назад, да вдобавок ему приходилось скалывать лед с обмерзших весел. Как полагается, «Альму» выбросило на берег у Уинди-Арм; три раза подряд Расмунсена захлестывало волнами на Тагише и прибивало к берегу, а на озере Марш его захватил ледостав. «Альму» затерло льдом, но яйца остались целы. Он волок их две мили по льду до берега и там устроил потайной склад, который местные старожилы показывали желающим и через несколько лет после этого.

Пять сотен миль обледенелой земли отделяли его от Доусона, а водный путь был закрыт. Но Расмунсен с каким-то окаменелым выражением лица пустился обратно через озеро пешком. Что ему пришлось вытерпеть во время пути, имея при себе только одеяло, топор да горсточку бобов, не дано знать простому смертному. Понять это может лишь путешественник по Арктике. Достаточно сказать, что на Чилкуте его застала пурга и врач в Овечьем лагере отнял ему два пальца на ноге. Однако Расмунсен не сдался и после этого;

до залива Пьюджет он мыл посуду на «Павоне», а оттуда до Сан-Франциско шуровал уголь на пассажирском пароходе.

Совсем одичавшим и опустившимся человеком ввалился он в банкирскую контору, волоча ногу по блестящему паркету, и попросил денег под вторую закладную. Его впалые щеки просвечивали сквозь редкую бороду, глаза ушли глубоко в орбиты и горели холодным огнем, руки огрубели от холода и тяжелой работы, под ногти черной каймой набились грязь и угольная пыль. Он бормотал что-то невнятное про яйца, торосистый лед, ветры и течения, но, когда ему отказались дать больше тысячи, речь его потеряла всякую связность, и можно было разобрать только, что дело идет о собаках и корме для собак, а также о мокасинах, лыжах и зимних тропах. Ему дали полторы тысячи, то есть гораздо больше, чем можно было дать под его коттедж, и все вздохнули с облегчением, когда он, с трудом поставив свою подпись, вышел из комнаты.

Спустя две недели Расмунсен перевалил через Чилкут с тремя упряжками, по пяти собак в каждой. Одну упряжку вел он сам, остальные — два индейца-погонщика. У озера Марш они разобрали тайник и погрузили яйца на нарты. Но тропа

еще не была проложена. Расмунсен ступил на лед, и на его долю пришелся труд утаптывать снег и пробиваться через ледяные заторы на реках. На привале он часто видел позади дым костров, поднимавшийся тонкой струйкой в чистом воздухе, и удивлялся, почему это люди не стараются обогнать его. Он был новичком в этих местах и не понимал, в чем дело. Не понимал он и своих индейцев, когда они пытались объяснить ему. Даже с их точки зрения это был тяжкий труд, но, когда по утрам они упирались и отказывались двинуться со стоянки, он заставлял их браться за дело, грозя револьвером.

После того как он провалился сквозь лед у порогов Белой Лошади и опять отморозил себе ногу, очень чувствительную к холоду после первого обморожения, индейцы думали, что Расмунсен сляжет. Но он пожертвовал одним из одеял и, сделав из него огромных размеров мокасин, похожий на ведро, по-прежнему шел за передними нартами. Это была самая тяжелая работа, и индейцы научились уважать его, хотя и постукивали по лбу пальцем, многозначительно качая головой, когда он не мог этого видеть. Однажды ночью они попытались бежать, однако свист пуль, зарывавшихся в снег, образумил их, и они

вернулись, угрюмые, но покорные. После этого они сговорились убить Расмунсена, но он спал чутко, словно кошка, и ни днем ни ночью им не представлялось удобного случая.

Не раз они пытались растолковать ему значение струйки дыма позади, но он ничего не понял и только стал относиться к ним еще подозрительней. А если они хмурились или отлынивали от работы, он быстро охлаждал их, показывая револьвер, который всегда был у него под рукой.

Так оно и шло — люди были непокорны, собаки одичали, трудная дорога выматывала силы. Он боролся с людьми, которые хотели бросить его, боролся с собаками, отгоняя их от яиц, боролся со льдом, с холодом, с болью в ноге, которая все не заживала. Как только рана затягивалась, кожа на ней трескалась от мороза, и под конец на ноге образовалась язва, в которую можно было вложить кулак. По утрам, когда он впервые ступал на эту ногу, голова у него кружилась от боли, он чуть не терял сознание, но потом в течение дня боль обычно утихала и возобновлялась только к ночи, когда он забирался под одеяло и пробовал уснуть. И все же этот человек, бывший счетовод, полжизни просидевший за конторкой, работал так, что индейцы не могли угнаться за ним; даже собаки

— и те выдыхались раньше. Сам он не сознавал даже, сколько ему приходилось работать и терпеть. Он был человеком одной идеи, и эта идея, однажды возникнув, поработила его. На поверхности его сознания был Доусон, в глубине — тысяча дюжин яиц, а его «я» витало где-то на полдороге между тем и другим, стараясь свести их в одной блистающей точке. Этой точкой были пять тысяч долларов — завершение его идеи и отправной пункт для новой, в чем бы она ни заключалась. Во всем остальном он был просто автомат. Он даже не сознавал, что в мире есть что-нибудь иное, видел окружающее смутно, как сквозь тусклое стекло, и относился к нему безразлично. Его руки работали с точностью заведенной машины, так же работала и голова. Выражение его лица стало настолько напряженным, что пугало даже индейцев, и они удивлялись непонятному белому человеку, который сделал их своими рабами и заставлял так неразумно тратить силы.

А потом, когда они подошли к озеру Ле-Барж, снова ударили морозы и холод межпланетных пространств поразил верхушку нашей планеты с силой шестидесяти с лишним градусов ниже нуля. Шагая с раскрытым ртом, чтобы легче дышать, Расмунсен застудил легкие, и весь остаток

пути его мучил сухой, отрывистый кашель, усиливавшийся от дыма костров и непосильной работы. На Тридцатимильной реке он наткнулся на большие полыньи, прикрытые предательскими ледяными мостиками и обведенные каймой молодого льда, тонкой и ненадежной. На этот молодой лед нельзя было полагаться, и индейцы колебались, но Расмунсен грозил им револьвером и шел вперед, невзирая ни на что. Однако на ледяных мостиках, хотя и прикрытых снегом, можно еще было принимать меры предосторожности. Они переходили эти мостики на лыжах, держа в руках длинные шесты, на случай если подломится лед, и, выбравшись на ту сторону, звали собак. И как раз на таком мостике, где провал посредине был незаметен под снегом, погиб один из индейцев. Он провалился в воду мгновенно и бесследно, как нож в сметану, и течение сразу увело его под лед.

В ту же ночь при бледном лунном свете убежал второй индеец. Расмунсен напрасно тревожил тишину выстрелами из револьвера, которым он орудовал с большей быстротой, чем сноровкой. Спустя тридцать шесть часов этот индеец добрался до полицейского поста на реке Большой Лосось.

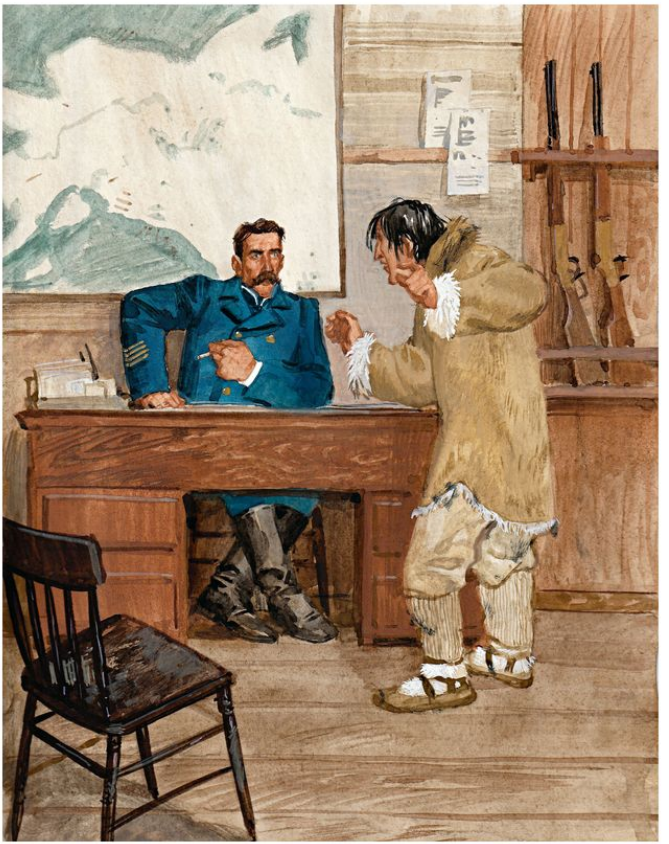
— Чудная человек! Как сказать — голова набекрень, — объяснял переводчик изумленному капитану. — А? Ну да, рехнулась, совсем рехнулась. Говорит: яйца, яйца… Все про яйца! Понятно? Скоро сюда придет.

Прошло несколько дней, и Расмунсен явился на пост на трех нартах, связанных вместе, и со всеми собаками, соединенными в одну упряжку. Это было очень неудобно, и в тех местах, где дорога была плохая, он переводил нарты поочередно, хотя ценою геркулесовых усилий ему иногда удавалось перевести их не расцепляя. Расмунсена, по-видимому, нисколько не взволновало, когда капитан сказал ему, что его индеец пошел в Доусон и теперь, вероятно, находится где-нибудь между Селкерком и рекой Стюарт. Вполне безучастно выслушал он и сообщение, что полиция накатала тропу до Пелли; он дошел до того, что с фаталистическим равнодушием принимал все, что посылали ему стихии, — как добро, так и зло. Зато когда ему сказали, что в Доусоне жестоко голодают, он усмехнулся, запряг своих собак и тронулся дальше.

Лишь на следующей остановке разъяснилась загадка дыма. Как только до Большого Лосося дошла весть, что тропа проложена до Пелли,

дымная цепочка перестала следовать за Расмунсеном, и, сидя у своего одинокого костра, он видел пеструю вереницу нарт, проносившихся мимо. Первыми проехали курьер и метис, которые вытаскивали его из озера Беннет, затем нарты с почтой для Серкла, а за ними потянулись на Клондайк разношерстные искатели счастья. Собаки и люди выглядели свежими, отдохнувшими, а Расмунсен и его псы измучились и исхудали так, что от них оставались кожа да кости. Люди из дымной цепочки работали один день из трех, отдыхая и приберегая силы для того времени, когда можно будет пуститься в путь по наезженной тропе, а Расмунсен рвался вперед, с трудом протаптывая дорогу, изнуряя своих собак, вымотывая из них последние силы.

Его самого сломить было невозможно. Эти сытые, отдохнувшие люди любезно благодарили его за то, что он для них так старался, — благодарили, широко ухмыляясь и нагло посмеиваясь над ним; он понял теперь, в чем дело, но ничего им не ответил и даже не озлобился. Это ничего не меняло. Идея — суть, которая лежала в ее основе, — оставалась все та же. Он здесь, и с ним тысяча дюжин, а там Доусон: значит, все остается по-прежнему.



У Малого Лосося ему не хватило корма для собак; он отдал им свою долю, а сам до Селкерка ел одни бобы, крупные темные бобы, очень питательные, но такие грубые, что его перегибало пополам от болей в желудке. На дверях фактории в Селкерке висело объявление, что пароходы не ходят вверх по Юкону вот уже два года; поэтому и провизия сильно вздорожала. Агент Компании предложил ему обменяться: чашку муки за каждое яйцо, но Расмунсен покачал головой и поехал дальше. Где-то за факторией ему удалось купить для собак мороженую конскую шкуру: торговцы скотом с Чилкута прирезали лошадей, а отбросы подбирали индейцы. Он, Расмунсен, тоже пробовал жевать шкуру, но щетина колола язвы во рту, и боль была невыносимая.

Здесь, в Селкерке, он повстречал первых предвестников голодного исхода из Доусона: беглецов становилось все больше, они являли собой печальное зрелище.

— Нечего есть! — вот что повторяли они хором. — Нечего есть, приходится уходить. Все молят Бога, чтобы хоть к весне стало полегче. Мука стоит полтора доллара фунт, и никто ее не продает.

— Яйца? — переспросил один из них. — По дол-

лару штука, только их совсем нет.

Расмунсен сделал в уме быстрый подсчет.

— Двенадцать тысяч долларов, — сказал он вслух.

— Что? — не понял встречный.

— Ничего, — ответил Расмунсен и погнал собак дальше.

Когда он добрался до реки Стюарт, в семидесяти милях от Доусона, пять собак у него погибли, остальные валились с ног. Сам Расмунсен тоже впрягся в постромки и тянул из последних сил. Но даже и так он едва делал десять миль в день. Его скулы и нос, много раз обмороженные, почернели, покрылись струпьями; на него было страшно смотреть. Большой палец, который мерз больше других, когда приходилось держаться за поворотный шест, тоже был отморожен и болел. Ногу, по-прежнему обутую в огромный мокасин, сводила какая-то странная боль. Последние бобы, давно уже разделенные на порции, кончились у Шестидесятой Мили, но Расмунсен упорно отказывался дотронуться до яиц. Он не мог допустить даже мысли об этом, она казалась ему святотатством; и так, шатаясь и падая, он проделал весь путь до Индейской реки. Тут щедрость одного старожила и свежее мясо только что убитого лося

прибавили сил ему и собакам; добравшись до Эйнсли, он воспрянул духом: беглец из Доусона, оставивший город пять часов назад, сказал ему, что он получит за каждое яйцо не меньше доллара с четвертью.

С сильно бившимся сердцем Расмунсен подходил к крутому берегу, где стояло здание доусонских казарм; колени у него подгибались. Собаки так обессилели, что пришлось дать им передышку, и, дожидаясь, пока они отдохнут, он от слабости прислонился к шесту. Мимо проходил какой-то человек очень внушительной наружности, в толстой медвежьей шубе. Он с любопытством взглянул на Расмунсена, остановился и оценивающим взглядом окинул собак и связанные постромками нарты.

— Что у вас? — спросил он.

— Яйца, — с трудом выговорил Расмунсен хриплым голосом, чуть громче шепота.

— Яйца! Ура! Ура! — Человек подпрыгнул, бешено завертелся и пустился в пляс. — Не может быть! Это всё яйца?

— Да, всё.

— Послушайте, вы, верно, Человек с Тысячей Дюжин? — Он обошел Расмунсена кругом и посмотрел на него с другой стороны. — Нет, в самом

деле! Это вы и есть?

Расмунсен не был в этом вполне уверен, но ответил утвердительно, и человек в шубе несколько успокоился.

— Сколько же вы за них хотите? — осторожно спросил он.

Расмунсен осмелел.

— Полтора доллара, — сказал он.

— Заметано! — поспешно ответил человек. — Давайте мне дюжину!

— Я… я хочу сказать, полтора доллара за штуку, — нерешительно объяснил Расмунсен.

— Ну да, я слышал. Давайте две дюжины. Вот песок.

Человек вытащил объемистый мешочек с золотом, толстый, как колбаса, и небрежно постучал им о шест. Расмунсен ощутил странную дрожь под ложечкой, щекотание в ноздрях и почти непобедимое желание сесть и расплакаться. Но вокруг уже начинала собираться толпа любопытных, и покупатели один за другим требовали яиц. Весов у Расмунсена не было, но человек в медвежьей шубе принес весы и услужливо отвешивал песок, пока Расмунсен отпускал товар. Скоро начались толкотня и давка, поднялся шум. Каждый хотел купить, и каждый требовал, чтобы ему отпустили

первому. И чем больше волновалась толпа, тем спокойней становился Расмунсен. Тут что-нибудь да не так. Неспроста они покупают яйца нарасхват, за этим что-нибудь да кроется. Умнее было бы сначала выждать и узнать цену. Может быть, яйцо теперь стоит уже два доллара. Во всяком случае полтора доллара он всегда получит.

— Конец! — объявил он, распродав сотни две яиц. — Больше не продаю. Устал. Мне еще надо найти хижину; вот тогда приходите, поговорим.

Толпа охнула, но человек в медвежьей шубе поддержал Расмунсена. Двадцать четыре штуки мороженых яиц со стуком перекатывались в объемистых карманах, и ему не было никакого дела до того, будут сыты остальные или нет. Кроме того, он видел, что Расмунсен едва стоит на ногах.

— Есть хижина недалеко от «Монте-Карло», второй поворот, сейчас же за углом, — сказал он, — окно там из содовых бутылок. Хижина не моя, мне только поручили ее сдать. Цена — десять долларов в день, и это еще дешево. Сейчас же и въезжайте, я к вам зайду потом. Не забудьте: вместо окна — бутылки… Тра-ла-ла! — пропел он минутой позже. — Пойду к себе есть яичницу и мечтать о доме.

По дороге Расмунсен вспомнил, что голоден,

и зашел в лавку Компании запастись кое-какой провизией, а потом в мясную — купить бифштекс и вяленой рыбы для собак. Он сразу нашел хижину и, не распрягая собак, развел огонь и поставил кипятить кофе.

— Полтора доллара за штуку… Тысяча дюжин… Восемнадцать тысяч долларов! — твердил он вполголоса, хлопоча возле печки.

Когда он бросил бифштекс на сковородку, дверь скрипнула. Расмунсен обернулся. Это был человек в медвежьей шубе. Он вошел очень решительно, видимо с какой-то определенной целью, но, взглянув на Расмунсена, словно растерялся, и лицо его выразило смущение.

— Вот что, послушайте… — начал он и замялся.

Расмунсен подумал, уж не пришел ли он за квартирной платой.

— Послушайте, черт возьми! А ведь яйца-то, знаете ли, тухлые!

Расмунсен зашатался. Его словно огрели по лбу дубиной. Стены перекосились и заходили перед ним ходуном. Он протянул вперед руку и ухватился за печку, чтобы не упасть. Резкая боль и запах горелого мяса привели его в чувство.

— Понимаю, — с трудом выговорил он, роясь в кармане. — Вы хотите получить деньги обратно?

— Не в деньгах дело, — ответил человек в медвежьей шубе. — А нет ли у вас других яиц, посвежее?

Расмунсен покачал головой.

— Возьмите деньги обратно.

Но тот отказывался, пятясь к дверям:

— Я лучше приду потом, когда вы разберете товар, и обменяю на другие.

Расмунсен вкатил в дом колоду и внес ящики с яйцами. Он принялся за дело очень спокойно. Взял топорик и стал рубить яйца пополам, одно за другим. Половинки он внимательно разглядывал и бросал на пол. Сначала он брал яйца на выбор из разных ящиков, потом стал рубить подряд. Куча на полу все росла. Кофе перекипел и убежал, бифштекс подгорел, и комната наполнилась чадом. Он рубил без отдыха, не разгибая спины, пока не опустел последний ящик.

Кто-то постучался в дверь, еще раз постучался и вошел.

— Что такое тут творится? — спросил гость, останавливаясь у порога и оглядывая комнату.

Разрубленные яйца начали оттаивать от печного жара, и с каждой минутой вонь становилась все сильнее и сильнее.

— Должно быть, на пароходе испортились, —

заметил вошедший.

Расмунсен уставился на него пустыми глазами.

— Я Меррей, Большой Джим Меррей, меня тут все знают, — отрекомендовался гость. — Мне сказали, что у вас испортился товар, предлагаю вам двести долларов за всю партию. Это, конечно, не то что рыба, но для собак годится.

Расмунсен словно окаменел. Он не пошевельнулся.

— Подите к черту! — сказал он без всякого выражения.

— Да вы подумайте. Цена хорошая за такую тухлятину, все-таки лучше, чем ничего. Две сотни. Ну так как же?

— Подите к черту, — негромко повторил Расмунсен. — Убирайтесь вон!

Меррей взглянул на него со страхом, потом тихонько вышел, пятясь и не сводя с Расмунсена глаз.

Расмунсен вышел за ним и распряг собак. Побросав им всю рыбу, которую купил, он отвязал и намотал на руку постромки от нарт. Потом вошел в дом и запер за собой дверь. От обуглившегося бифштекса в комнате стоял едкий чад. Расмунсен встал на койку, перебросил постромки через стропила и прикинул длину на глаз. Должно быть, ему показалось, что коротко, — он поставил на койку табурет и влез на него. Сделав на конце постромок петлю, он просунул в нее голову, а другой конец закрепил. Потом отшвырнул табурет ногой.

1903



Меченый

Перевод И. Гуровой



Не очень-то я теперь высокого мнения о Стивене Маккэе, а ведь когда-то клялся его именем. Да, было время, когда я любил его, как родного брата. А попадись мне теперь этот Стивен Маккэй — я не отвечаю за себя! Просто не верится, чтобы человек, деливший со мной пищу и оде-

яло, человек, с которым мы перемахнули через Чилкутский перевал, мог поступить так, как он. Я всегда считал Стива честным парнем, добрым товарищем; злобы или мстительности у него в натуре и в помине не было. Нет у меня теперь веры в людей! Еще бы! Я вы́ходил этого человека, когда он помирал от тифа, мы вместе дохли с голоду у истоков Стюарта; и кто, как не он, спас мне жизнь на Малом Лососе! А теперь, после стольких лет, когда мы были неразлучны, я могу сказать про Стивена Маккэя только одно: в жизни не видал второго такого негодяя.

Мы собрались с ним на Клондайк в самый разгар золотой лихорадки, осенью 1897 года, но тронулись с места слишком поздно и не успели перевалить через Чилкут до заморозков. Мы протащили наше снаряжение на спинах часть пути, как вдруг пошел снег. Пришлось купить собак и продолжать путь на нартах. Вот тут и попал к нам этот Меченый. Собаки были в цене, и мы уплатили за него сто десять долларов. Он стоил этого — с виду. Я говорю «с виду», потому что более красивого пса мне еще не доводилось встречать. Он весил шестьдесят фунтов и был словно создан для упряжки. Эскимосская собака? Нет. И не маламут, и не канадская лайка. В нем было что-то от всех

этих пород, а вдобавок и от европейской собаки, так как на одном боку, посреди желто-рыжих и грязновато-белых разводов, составлявших преобладающую окраску этого пса, у него красовалось угольно-черное пятно величиной со сковородку. Потому мы и прозвали его Меченый.

Ничего не скажешь — на первый взгляд пес был что надо. Когда он был в теле, мускулы так и перекатывались у него под кожей. Во всей Аляске не сыскалось бы пса более сильного с виду. И более умного — тоже с виду. Попадись этот Меченый вам на глаза, вы бы сказали, что в любой упряжке он перетянет трех собак одного с ним веса. Может, и так, только видеть этого мне не приходилось. Его ум не на то был направлен. Вот воровать и таскать что попало — это он умел в совершенстве. Кое на что у него был особый, прямо-таки необъяснимый нюх: он всегда знал заранее, когда предстояла работа, и всегда успевал от нее улизнуть. Насчет того, чтобы вовремя пропасть и вовремя найтись, у Меченого был положительно какой-то дар свыше. Зато когда доходило до работы, весь его ум мгновенно испарялся и вместо собаки перед вами была жалкая тварь, дрожащая, как кусок студня, — просто сердце обливалось кровью при взгляде на него.

Иной раз мне кажется, что не в глупости тут дело. Быть может, подобно некоторым хорошо знакомым мне людям, Меченый был слишком умен, чтобы работать. Не удивлюсь, если при своей необыкновенной смекалке он просто-напросто нас дурачил. Может, он прикинул все за и против и решил, что лучше уж трепка раз-другой и никакой работы, чем работа с утра до ночи, хоть и без трепки. На это у него ума хватило бы. Говорю вам, иной раз сижу я и смотрю в глаза этому псу — и такой в них светится ум, что, бывало, мурашки по спине побегут и дрожь проберет до самых костей. Не могу даже объяснить, что это такое, словами не передашь. Я видел это — вот и все. Да, посмотреть ему в глаза было все равно как заглянуть в человеческую душу. И от того, что я там видел, на меня нападал страх и всякие мысли начинали лезть в голову — о переселении душ и прочей ерунде. Говорю вам, я чувствовал нечто очень значительное в глазах у этого пса; они говорили со мной, но во мне самом не хватало чего-то, чтобы их понять. Как бы там ни было (знаю сам, что кажусь дураком), но… как бы там ни было, эти глаза сбивали меня с толку. Не могу, ну вот никак не могу объяснить, что́ я в них видел. Не то чтобы глаза у Меченого как-то особенно

светились: нет, в них словно появлялось что-то и уходило в глубину, а глаза-то сами оставались неподвижными. По правде сказать, я не видел даже, как там что-нибудь появлялось, а только чувствовал, что появляется. Говорящие глаза — вот как это надо назвать. И они действовали на меня… Нет, не то, не могу я этого выразить. Одним словом, у меня возникало какое-то чувство сродства с ним. Нет-нет, дело тут не в сантиментах. Скорее это было чувство равенства. У этого пса глаза никогда не молили, как, например, у оленя. В них был вызов. Да нет, не вызов. Просто спокойное утверждение равенства. И вряд ли он сам это сознавал. А все же факт остается фактом: было что-то в его взгляде, что-то там светилось. Нет, не светилось, а появлялось. Сам знаю, что несу чепуху, но, если бы вы посмотрели ему в глаза, как это случалось делать мне, вы бы меня поняли. Со Стивом происходило то же, что со мной. Короче, я пытался однажды убить Меченого — он никуда не был годен — и провалился с этим делом. Завел я его в чащу — он шел медленно и неохотно, знал, верно, какая участь его ждет. Я остановился в подходящем местечке, наступил ногой на веревку и вынул свой большой кольт. А Меченый сел и стал на меня смотреть. Говорю

вам, он не просил пощады — он просто смотрел. И я увидел, как нечто непостижимое появилось — да-да, появилось — в глазах у этого пса. Не то чтобы я в самом деле что-нибудь видел, — должно быть, у меня просто было такое ощущение. И скажу вам напрямик: я спасовал. Это было все равно как убить человека — храброго, сознающего свою участь человека, который спокойно смотрит в дуло твоего револьвера и словно хочет сказать: «Ну, кто из нас струсит?» И потом, мне все казалось: вот-вот я уловлю то, что было в его взгляде. Надо бы поскорее спустить курок, а я медлил. Вот, вот оно — прямо передо мной, светится и мелькает в его глазах. А потом было уже поздно. Я струсил. Дрожь пробрала меня с головы до пят, под ложечкой засосало, и тошнота подступила к горлу. Тогда я сел и стал смотреть на Меченого, и он тоже на меня смотрит. Чувствую — еще немного, и я свихнусь. Хотите знать, что я сделал? Швырнул револьвер и со всех ног помчался в лагерь — такого страху нагнал на меня этот пес. Стив поднял меня на смех. Однако я приметил, что неделю спустя Стив повел Меченого в лес — как видно, с той же целью — и вернулся назад один, а немного погодя приплелся домой и Меченый.

Как бы то ни было, а только Меченый не же-

лал работать. Мы заплатили за него сто десять долларов, последние деньги наскребли, а он не желал работать, даже постромки не хотел натянуть. Стив пробовал уговорить Меченого, когда мы первый раз надели на него упряжь, но пес только задрожал слегка — тем дело и кончилось. Хоть бы постромки натянул! Нет! Стоит себе как вкопанный и трясется, точно кусок студня. Стив стегнул его бичом. Он взвизгнул — и ни с места. Стив хлестнул еще раз, посильнее. И Меченый завыл — долго, протяжно, словно волк. Тут уж Стив взбесился и всыпал ему еще с полдюжины, а я выскочил из палатки и со всех ног бросился к ним.

Я сказал Стиву, что нельзя так грубо обращаться с животными, и мы немного повздорили, первый раз за всю жизнь. Стив швырнул бич на снег и ушел, злой как черт. А я поднял бич и принялся за дело. Меченый задрожал, затрясся весь и припал к земле, прежде даже чем я взмахнул бичом. А когда я огрел его разочек, он взвыл, словно грешная душа в аду, и лег на снег. Я погнал собак, и они потащили Меченого за собой, а я продолжал лупить его. Он перекатился на спину и волочился по снегу, дрыгая всеми четырьмя лапами и воя так, словно его пропускали через мясорубку. Стив

вернулся и давай хохотать надо мной. Пришлось мне попросить у него прощения за свои слова.

Никакими силами нельзя было заставить Меченого работать, но зато я еще сроду не видал более прожорливой свиньи в собачьей шкуре. И в довершение всего, это был ловкий вор. Перехитрить его было невозможно. Не раз оставались мы без копченой грудинки на завтрак, потому что Меченый успевал позавтракать раньше нас. По его вине мы чуть не подохли с голода в верховьях Стюарта: он ухитрился добраться до наших мясных запасов, и чего не смог сожрать сам, прикончила сообща его упряжка. Впрочем, его нельзя было упрекнуть в пристрастии — он крал у всех. Это была беспокойная собака, вечно рыскавшая вокруг да около или спешившая куда-то с деловым видом. Не было ни одного лагеря на пять миль в окружности, который не подвергся бы его набегам. Хуже всего было то, что к нам поступали счета за его трапезы, которые, по справедливости, приходилось оплачивать, ибо таков был закон страны. И нас это прямо-таки разоряло, особенно в первую зиму на Чилкуте, — мы тогда сразу вылетели в трубу, оплачивая все свиные окорока и копченую грудинку, которых никто из нас не ел. Драться этот Меченый тоже умел неплохо. Он

умел делать все что угодно, только не работать. Сроду не натянул постромок, но верховодил всей упряжкой. А как он заставлял собак держаться от него на почтительном расстоянии! На это стоило посмотреть — поучительное было зрелище. Он вечно нагонял на них страху, и то одна, то другая собака всегда носила свежие отметины его клыков. Но Меченый был не просто задира. Никакое четвероногое существо не могло внушить ему страха. Я видел, как он один-одинешенек ринулся на чужую упряжку, без малейшего повода с ее стороны, и расшвырял вверх тормашками всех собак. Я, кажется, говорил вам, какой он был обжора? Так вот, как-то раз я поймал его, когда он жрал бич. Да-да, именно так. Начал с самого кончика и, когда я застал его за этим занятием, добрался уже до рукоятки и продолжал ее обрабатывать.

Но с виду Меченый был хорош. В конце первой недели мы продали его отряду Конной полиции за семьдесят пять долларов. У них были опытные погонщики, и мы думали, что к тому времени, когда Меченый покроет шестьсот миль до Доусона, из него выйдет приличная упряжная собака. Я говорю «мы думали», потому что в то время наше знакомство с Меченым только еще начиналось.

Потом уже у нас не хватало наглости что-нибудь «думать», если дело касалось этого пса. Через неделю мы проснулись утром от самой неистовой собачьей грызни, какую мне когда-либо приходилось слышать. Это Меченый возвратился домой и наводил порядок в своей упряжке. Смею вас уверить, что мы позавтракали без особого аппетита, но часа через два снова воспрянули духом, продав Меченого правительственному курьеру, отправлявшемуся в Доусон с депешами. На сей раз пес пробыл в отлучке всего трое суток и, как водится, отпраздновал свое возвращение хорошей собачьей свалкой.


GASOLINE
TRAMWAY

Переправив наше снаряжение через перевал, мы всю зиму и весну занимались тем, что помогали переправляться всем желающим, и здорово на этом заработали. Кроме того, неплохой доход приносил нам Меченый: мы продавали его не раз и не два, а все двадцать. Он всегда возвращался к нам, и ни один покупатель не потребовал назад своих денег. Да нам эти деньги тоже были не нужны — мы сами рады были хорошо заплатить всякому, кто помог бы нам навсегда сбыть Меченого с рук. Нам нужно было отделаться от него, но ведь даром собаку не отдашь — сразу покажется подозрительным. Впрочем, Меченый был такой красавец, что найти на него покупателя не составляло никакого труда.

— Не обломался еще, — говорили мы, и нам платили за него, не торгуясь.

Иной раз мы продавали его всего за двадцать пять долларов, а однажды выручили целых сто пятьдесят. Так вот, этот самый покупатель возвратил нам нашего пса лично и даже деньги отказался взять обратно. И уж как он нас поносил — страшно вспомнить! Это совсем недорогая плата, сказал он, за удовольствие выложить напрямик все, что он о нас думает. Да мы и сами понимали, что он прав, и крыть нам было нечем.

Но только с того дня, выслушав все, что говорил этот человек, я навсегда потерял уважение к самому себе.

Когда с рек и озер сошел лед, мы погрузили наше снаряжение в лодку на озере Беннет и поплыли в Доусон. У нас была неплохая упряжка, и мы, разумеется, и ее погрузили в лодку. Меченый был тут же, отделаться от него не представлялось никакой возможности. В первый же день он раз десять затевал с собаками драку и сбрасывал в воду всех своих противников по очереди — в лодке было тесновато, а он не любил, когда его толкают.

— Этой собаке необходим простор, — сказал Стив на следующий день. — Давай-ка высадим его на берег.

Так мы и сделали, причалив ради этого к берегу у Оленьего Перевала. Еще две собаки — очень хорошие собаки — последовали за ним, и мы потеряли целых два дня на их розыски. Так мы этих собак больше и не видели. Но у нас словно гора с плеч свалилась: мы наслаждались покоем и, как тот человек, который отказался взять обратно свои сто пятьдесят долларов, считали, что дешево отделались. Впервые за несколько месяцев мы со Стивом снова смеялись, насвистывали, пели.

Мы были счастливы, беспечны, как мотыльки. Черные дни остались позади. Кошмар рассеялся. Меченого больше не было.

Три недели спустя, как-то утром, мы со Стивом стояли на берегу реки в Доусоне. Подошла небольшая лодка, только что прибывшая с озера Беннет. Я увидел, как Стив вздрогнул, и услышал, как он произнес нечто не вполне цензурное и притом отнюдь не вполголоса. Смотрю на лодку и вижу: на корме, навострив уши, сидит Меченый. Мы со Стивом немедленно дали тягу — как трусы, как побитые дворняжки, как преступники, скрывающиеся от правосудия. Верно, это последнее пришло в голову и полицейскому сержанту, который видел, как мы улепетывали. Он решил, что в лодке прибыли представители закона и что они охотятся за нами. Не теряя ни минуты на выяснения, сержант погнался за преступниками и в салуне припер нас к стенке. Произошел довольно веселый разговор, так как мы наотрез отказались спуститься к лодке и встретиться с Меченым. В конце концов сержант приставил к нам другого полисмена, а сам пошел к лодке. Отделавшись наконец от полиции, мы направились к своей хижине. Подошли — и видим: Меченый уже поджидает нас, сидя на крылечке. Ну как он узнал,

что мы тут живем? В то лето в Доусоне было тысяч сорок жителей. Как же ухитрился он среди всех других хижин разыскать именно нашу? И откуда, черт возьми, мог он знать, что мы вообще находимся в Доусоне? Предоставляю вам решить это самим. Не забудьте только то, что я говорил о его уме. Недаром что-то светилось в его глазах, словно этот пес был наделен бессмертной душой.

Теперь уж мы потеряли всякую надежду избавиться от Меченого: в Доусоне было слишком много людей, покупавших его на Чилкуте, и молва о нем быстро распространилась повсюду. Раз шесть мы сажали его на пароход, спускавшийся вниз по Юкону, но он просто-напросто сходил на берег на первом же причале и не спеша трусил обратно. Мы не могли ни продать его, ни убить (оба пробовали, да ничего не вышло). Убить Меченого никому не удавалось, он был точно заколдован. Я видел как-то его на главной улице, в самой гуще собачьей свалки. На него налетело штук пятьдесят разъяренных псов, а когда эти псы рассыпались в разные стороны, Меченый стоял на всех четырех лапах, целый и невредимый, а две собаки из своры валялись на земле без всяких признаков жизни.

Я видел, как Меченый стащил из погреба у

майора Динвидди такой тяжеленный кусок оленины, что еле-еле ухитрялся прыгать с ним на шаг впереди краснокожей кухарки, гнавшейся за похитителем с топором в руке. Когда он взобрался на холм (после того как кухарка отказалась от преследования), сам майор Динвидди вышел из дому и разрядил свой винчестер в расстилавшийся перед ним пейзаж. Он дважды заряжал ружье, расстрелял все патроны — и ни разу не попал в Меченого. А потом прибежал полисмен и арестовал майора за стрельбу из огнестрельного оружия в черте города. Майор Динвидди уплатил положенный штраф, а мы со Стивом уплатили ему за оленину по одному доллару за фунт вместе с костями. Он сам покупал ее по такой цене — мясо в тот год было дорогое.

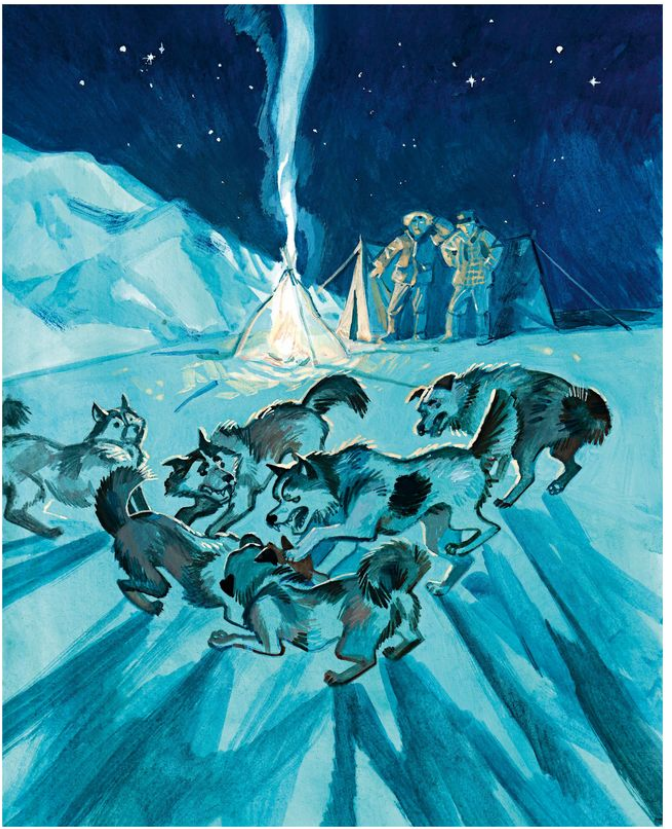
Я рассказываю только то, что видел собственными глазами. И сейчас расскажу вам еще кое-что. Я видел, как этот пес провалился в прорубь. Лед был толщиной в три с половиной фута, и его, как соломинку, сразу затянуло течением вниз. Ярдов на триста ниже была другая прорубь, из которой брали воду для больницы. Меченый вылез из этой больничной проруби, облизал с себя воду, обкусал сосульки между пальцами, выбрался на берег и задал трепку большому ньюфаундленду,

принадлежавшему приисковому комиссару.

Осенью 1898 года, перед тем как стать рекам, Стив и я поднимались на баграх вверх по Юкону, направляясь к реке Стюарт. Собаки были с нами — все, кроме Меченого. Мы решили: хватит кормить его! У нас с ним было столько хлопот, мы столько потратили на него времени, денег, корма… Особенно корма, а ведь этого ничем не окупишь, хоть мы и немало выручили, продавая этого пса на Чилкуте. И вот мы со Стивом привязали Меченого в хижине, а сами погрузили в лодку наше снаряжение. В эту ночь мы сделали привал в устье Индейской реки и вдоволь повеселились, на радостях, что наконец-то избавились от Меченого. Стив был мастер на всякие штуки, а я сидел, завернувшись в одеяло, и так и помирал со смеху. Вдруг в лагерь ворвался ураган. У нас волосы встали дыбом, когда мы увидели, как Меченый налетал на собак и разносил всю стаю в клочья. Ну как, скажите на милость, как удалось ему освободиться? Гадайте сами — у меня нет никаких соображений на этот счет. А как он переправился через Клондайк? Вот вам еще одна загадка. И главное, откуда он мог знать, что мы отправились вверх по Юкону? Ведь мы плыли по воде, значит, нас нельзя было найти по следу.

Мы со Стивом сделались прямо-таки суеверными из-за этого пса. К тому же он действовал нам на нервы, и, признаться вам по секрету, мы его немножко побаивались.

Когда мы прибыли к ручью Гендерсона, реки стали, и нам удалось продать Меченого за два мешка муки одной группе, направлявшейся вверх по реке Белой за медью. Так вот, вся эта группа пропала. Сгинула бесследно: никто больше не видел ни людей, ни собак, ни нарт — ничего. Все они словно сквозь землю провалились. Это было одно из самых таинственных происшествий в здешних местах. Стив и я двинулись дальше, вверх по реке Стюарт, а шесть недель спустя Меченый притащился к нам в лагерь. Пес был похож на живой скелет, он еле волочил ноги — а все же добрался до нас. А теперь пусть мне скажут: кто это сообщил ему, что мы отправились вверх по Стюарту? Мы могли направиться в тысячу других мест. Как он узнал? Ну, что вы на это скажете?



Нет, избавиться от Меченого было невозможно. В Мэйо он затеял драку с одной индейской собакой. Ее хозяин-индеец бросился на него с топором, промахнулся и убил свою собственную собаку. Вот и толкуйте о разной там магии и колдовстве, которыми отводят в сторону пули! На мой взгляд, куда трудней отвести в сторону топор, в особенности если за его рукоятку уцепился здоровенный индеец. И вот я видел, своими глазами видел, как Меченый это сделал. Тот индеец вовсе не хотел убивать собственную собаку, можете мне поверить.

Я рассказывал вам, как Меченый добрался до наших мясных запасов? Вот тут уж нам прямо конец пришел. Охота кончилась; кроме этого мяса, у нас ничего не было. Лоси ушли за сотни миль, индейцы со всеми припасами — следом за ними. Прямо хоть ложись и помирай. Приближалась весна. Оставалось только ждать, когда вскроются реки. Мы здорово отощали, прежде чем решились съесть собак, и в первую очередь решено было съесть Меченого. Так что же вы думаете, как поступил этот пес? Он улизнул. Ну как он мог знать, что было у нас на уме? Мы просиживали ночи напролет, подстерегая его, но он не вернулся; и мы съели остальных собак, съели всю упряжку.

Теперь послушайте, чем все это кончилось. Видели вы когда-нибудь, как вскрывается большая река и миллионы тонн льда несутся вниз по течению, теснясь, перемалываясь и наползая друг на друга? И вот, когда река Стюарт с ревом и грохотом ломала лед, в самой гуще ледяного месива мы углядели Меченого. Он, должно быть, пытался переправиться через реку где-нибудь выше по течению, и в эту минуту лед тронулся. Мы со Стивом носились по берегу взад и вперед, вопя и улюлюкая что было мочи и размахивая шапками. Потом останавливались и душили друг друга в объятиях; мы бесновались от радости, видя, что Меченому пришел конец. У него не было ни единого шанса выбраться оттуда! Как только лед сошел, мы сели в челнок и поплыли вниз по течению до Юкона и вниз по Юкону до Доусона, остановившись всего лишь раз — в поселке у ручья Гендерсона, чтобы немного подкормиться. А когда в Доусоне мы причалили к берегу, на пристани, навострив уши и приветливо помахивая хвостом, сидел Меченый и скалил зубы, словно говорил нам: «Добро пожаловать!» Ну как он выбрался? И откуда мог узнать, когда мы приплывем в Доусон? А ведь встретил нас на пристани минута в минуту!



Чем больше я думаю об этом Меченом, тем бесповоротнее прихожу к убеждению, что есть такие вещи на свете, которые не по плечу науке. Никакая наука не в силах объяснить Меченого. Это совершенно особое психическое явление, или даже мистическое, или еще что-нибудь в этом роде и, насколько я понимаю, с прибавлением солидной доли теософии. Клондайк — хорошая страна. Я мог бы и сейчас жить там и стать миллионером, если б не этот пес. Он действовал мне на нервы. Я терпел эту собаку целых два

года, а потом, как видно, силы мои пришли к концу. Летом 1899 года мне пришлось выйти из игры. Я ничего не сказал Стиву. Я просто удрал, оставив ему записку и приложив к ней пакетик крысиного яда с объяснением, как следует им распорядиться. Я совсем отощал из-за этого Меченого и стал таким нервным, что вскакивал и оглядывался по сторонам, когда кругом не было ни души. И просто удивительно, как быстро я пришел в себя, стоило мне только избавиться от этого пса. Двадцать фунтов прибавил, прежде чем добрался до Сан-Франциско, а когда сел на паром, чтобы переправиться в Окленд, то уже настолько оправился, что даже моя жена тщетно старалась найти во мне хоть какую-нибудь перемену.

Как-то раз я получил письмо от Стива, и в этом письме сквозило некоторое раздражение: Стив принял довольно близко к сердцу то, что я оставил его с Меченым. Между прочим, он писал, что использовал крысиный яд согласно моей инструкции, но ничего путного из этого не вышло.

Прошел год. Я опять вернулся в свою контору и преуспевал как нельзя лучше, даже раздобрел слегка. И вот тут-то и объявился Стив. Он не зашел повидаться со мной. Я прочел его имя в списке пассажиров, прибывших с пароходом,

и был удивлен, почему он не показывается. Но долго удивляться мне не пришлось. Как-то утром я вышел из дому и увидел Меченого: он был привязан к столбу калитки и держал молочника на почтительном расстоянии от себя. В то же утро я узнал, что Стив уехал на север, в Сиэтл. С тех пор я уже не прибавлял в весе. Моя жена заставила меня купить Меченому ошейник с номерком, и не прошло и часа, как он выразил ей свою признательность, придушив ее любимую персидскую кошку. Никакие силы теперь не освободят меня больше от Меченого. Этот пес будет со мной до самой моей смерти, ибо он-то никогда не издохнет. С тех пор как он объявился, у меня испортился аппетит, и жена говорит, что я чахну на глазах. Прошлой ночью Меченый забрался в курятник к мистеру Харвею (Харвей — это мой сосед) и задушил у него девятнадцать самых породистых кур. Мне придется заплатить за них. Другие наши соседи поссорились с моей женой и съехали с квартиры: причиной ссоры был Меченый. Вот почему я разочаровался в Стивене Маккэе. Никак не думал, что он окажется таким подлецом.

1908

